

Л. Ржевский

Двое
на
камне

ЛЗТ

Л. РЖЕВСКИЙ

ДВОЕ НА КАМНЕ

Товарищество Зарубежных Писателей

Мюнхен

1960

Copyright by the author
Alle Rechte vorbehalten

Склад издания:

Г. Андреев, ЦОПЭ-Бюро, Мюнхен 19, Ренаташтр. 77

Satz und Druck: Georg Butow, München 5, Kohlstraße 3 b, Tel. 29 51 36.

ДВОЕ НА КАМНЕ

*«Иные, лучшие мне дороги права,
Иная, лучшая потребна мне свобода».*
(А. Пушкин)

1.

«О Господи, если б мог я писать так, как мне хочется!» — Жалобу эту, то в голос, то шопотом, а то и вовсе невыговоренную, спрятанную где-то в дрожи пальцев и губ, слыхивал я не раз от иных страстотерпцев пера. Но один из них, о ком хочу рассказать, произнес ее, помнится, с таким буйным надрывом, что до сих пор не забыть. Звали его Лишин, Александр Лишин, уменьшительно — Саша Лишин, — это немного шурило, как полускомканье черновики, которые он постоянно носил в карманах. Чтобы рассказать обо всем внятно, нужно, однако, разбежаться издали — от самой первой нашей с ним встречи в Москве, лет двадцать назад, в тридцать каком-то, точно не помню, году.

Я увидел его, возвращаясь под вечер в свой примонастырский переулок, пахнувший мокрой травой и холодеющим камнем. Он картинно сидел на тротуарной тумбе, как раз напротив моих ворот, так что я едва не споткнулся, входя в калитку, об его вещевой лопухий мешок, валявшийся рядом. Говоря «картинно», я подразумеваю не позу, а общую живописность, так сказать, композиции: серая на каменной тумбе фигура в почти что отрепьях, но с круто белевшим лбом, вокруг синева первобытного булыжника, а вдали, как фон, край слепых монастырских ворот и стены, с которой еще не успело сползти немного вечернего солнца. Так, подумалось мне тогда, иной художник из передвижников мог бы изобразить прибытие «На учење в Москву» какого-либо нового Ломоносова. С этой мыслью вошел во двор, поднялся в свою мансарду и битых полчаса пытался и не мог начать очередную главу дис-

сертации, над которой трудился тогда. Потом стемнело, в открытом окне по желтым кленовым листьям залопотал дождь; я включил свет и тотчас же понял, что именно этот бродяжка на тумбе, за другой стеной дома, мешает мне сосредоточиться. Неужели так все еще и сидит? . .

Он все еще сидел — видно было в потемках, как почернели от дождя плечи его ватника и мешок подле, но он так задумался, что, верно, не слышал дождя, как и моих шагов, даже вздрогнул, когда я с ним заговорил. После первых же его ответных слов, прозвучавших отнюдь не по-бродяжьи, а как бы и с лоском в выговоре, я испытал некую суетную гордость: вот ведь угадал в нем что-то ломоносовское. В самом деле: он только что прибыл из Читы — поступать «на ура» в один из московских вузов. «Литературный какой-нибудь»... — объяснил он и представился, назвав себя. Когда он при этом стянул с головы мокрую кепку, я установил, что он был очень молод, не старше двадцати, что у него не только лоб, но и все узкое лицо было матовой бледности, и что он иногда заикался на «м» не то на «н» — особым манером, с какой-то певучей вибрацией, как если разогреть, нажимая на кнопку, застывший автомобильный мотор. Выяснилось также, что он сидел так долго на тумбе, ожидая темноты, чтобы отправиться в привокзальную ночлежку, куда засветло не пускали.

Потом я взял его с его ушастым мешком к себе в комнату. В мешке, помимо вязанки книг, трусов и майки, оказалась медвежья побитая молью шкура, которую кто-то из доброжелателей-сибиряков снабдил его в путь, взамен валюты на первые дни московского существования («М-м-м-ожно продать, мы думали»...), — денег у него не было. Потом, после двух-или трехчасового пестрого разговора за чаем, я уложил его у окна на раскладушке. Потом — он остался в этой моей мансарде насовсем.

* * *

*

Вжился он в мансардный быт как-то необыкновенно скоро и естественно, — потому, вероятно, что этого быта вокруг себя особенно и не замечал, а помещался в нем сам и размещал свои пожитки — книжки ли, майку ли в коридоре для сушки — с той же беззаботностью, с какой кукушка кладет яйца в

чужое гнездо. Станным образом ему прощали и эти мокрые майки, и лужи под раковиной после умыванья, и рассеянно гулкий топ и скрип по лестнице в поздние часы, так что я напрасно опасался вначале неприятностей из-за него с хозяевами. Вышло совсем даже напротив. Домик принадлежал весьма пожилой и чопорной «смолянке» — Аглаиде Ивановне, дальней моей родственнице, замужем за тоже весьма неподатливым старичком, довольно известным по Москве архитектором. О нем стоило бы рассказать особо — очень был интересен, и наружностью (из пушистой поросли на лице выглядывал, как у ежа, только нос), и непримиримым ко всему «новому» остроумием — я точно знаю, что известное крылатое изречение по поводу разорения церквей: «Добыча кирпича он способу Ильича» — принадлежит именно ему; расплатился он за него совсем легкой отсидкой, благодаря «высотным» связям с кем-то из старой комгвардии и заслугам: выстроил под Москвой одно показательное учреждение по последнему слову техники и в стиле «знай наших». Ради этих же связей оставили им и домик, хоть и вселили в самую большую комнату какого-то гладиатора, боровшегося с медведем (медведь жил тут же во дворе, в сарайчике).

Так вот оба старичка приняли моего внезапного сожителя на удивление терпимо, а в дальнейшем даже, я бы сказал, с умилением, хотя он сам об этом не заботился нимало. Аглаида Ивановна прямо-таки начала его вскорости опекать — не знаю, в какой мере способствовало этому спасение кошек, которое Саша, «un vrai héros»*), как она говорила, выполнял иногда по ее просьбе. Их, кошек, было у нее штук восемнадцать, все кривых, с подбитой ногой, бесхвостых и вообще убогих. Эта кошачья инвалидная команда очень любила почему-то взбираться на дерево перед нашим окном. Особенно один кот, самый дряхлый и фаворит, которого, помню, звали Вавкой. Вавка вскарабкался всегда на самый высокий хлибкий сук и потом, когда сук начинал под ним раскачиваться от тяжести и ветра, — пугался слезать и повисал мешком, разевая в беззвучном мяуканье противно-розовый беззубый рот. Саша выручал его из нашего окошка с помощью, кажется, гладильной доски и потом выслушивал дифирамбы своей отваге и доброму сердцу.

*) настоящий герой (фр).

Впрочем, Саша нравился и мне самому. Весьма трогательную его биографию знал я в общих чертах в первый уже вечер, то есть знал, что он был сирота, что их с отцом несколько лет назад выслали на поселение из Ленинграда (вот откуда взялась у него некая изысканность в произношении), что потом, после смерти отца, он как-то умудрился стереть с себя ржавь происхождения, даже выдвинулся в местных газетах и журналах, даже вот получить «направление» в Москву. Затем, когда он и на самом деле устроился в один из московских литературных вузов, а со мной освоился вполне, узнал я и некоторые подробности этой жизни полубеспорядочника («одни валенки, знаете, на троих, и в старой баньке жили»), полуктивиста («со стенгазет начинать пришлось, но потом стали звать и в настоящие»). Выкарабкаться из нее непокоробленным помогла ему, видимо, не только талантливость — кому помешал талант свихнуться в быт, в рюмку, в литературное мелкое ловкачество, — а, как я позже установил, некоторая как бы однострунность натуры: он живо, иногда до наивности, откликался только на то, что касалось литературы, а очень многого в жизни словно бы и не замечал, как и беспорядка, который оставлял после себя в ванной комнате.

Но талант был у него несомненный. Это я выяснил несколько позже, когда в один долгий осенний вечер мы оба оказались дома. Он сидел на своей раскладушке, недвижимо уставившись в угол темными тяжеловатыми глазами (кстати: они у него были с падучинкой, т. е. я замечал, что у людей с таким выражением глаз случаются либо прежде когда-то случались припадки). Потом полез вдруг в свой мешок и вытащил в узелке рукописи и бумаги. Разложил передо мной на столе:

— Вот, я хотел бы, чтобы вы посмотрели. И, если можно, откровенное ваше мнение. . .

Это были два или три вырезанных из журналов рассказа, несколько стихотворений, тоже вырезки, и толстый рукописный перевод «Слова о полку Игореве», в стихах. Как вспоминаю теперь, я взялся за чтение не без опасения разочароваться (что тогда говорить?) — в то время как он следил за мной сверху, поглаживая нервно волосы — тонкие русые волосы, закинутые назад, которые впрочем сильно у него лезли. Опасение исчезло, когда я перелистал уже первые две-три страницы: он был завидно талантлив. — И в прозе, хоть и выуженной обязательной у нас боязнью показаться кому-ни-

будь непонятным, и особенно в стихах: перевод «Слова» был превосходен. Как установил я после, удавались ему также пародии и экспромты. Вот один эпизод. В октябрьский праздник вернулся он с демонстрации уже затемно, бледный, с налипшей на лоб прядью тонких волос, потный, несмотря на синерко, и так и повалился на раскладушку с необскребанными подметками.

— Устали, Саша? — спросил я, отрываясь от книги, но он не ответил, будто не слышал, и почти полчаса, должно быть, стояло у нас молчание и шорох мокрого снега в окно.

— Хотите я прочту вам «Поэму о Красном»? — поднялся он вдруг с кровати, смахнув со лба волосы. — То есть не поэму, конечно, а так, вроде пародии. Сегодня сочинил, на ходу, в колонне. Немножко «контр», но... какое это м-м-м-учение, этот красный цвет в таком сумасшедшем количестве! Я понимаю: пропаганда и символ, но не до бесчувствия же... Я смотрел-смотрел, и вдруг, знаете, замутило как-то... И стал сочинять, чтобы успокоиться. Прочсть?

Я жалею, что не мог запомнить всего (записывать мы, разумеется, не записывали); в начале, помнится, изображалось нагромождение всякой праздничной бутафории — звезд, транспарантов, знамен, которые...

опестрили серое
оперенье улицы.
Улица в миллионах красных брызг.
Улица,
будто зарезанная курица,
брызгами
крови
изгваздана
вдрызг...

Далее у героя этой поэмки-пародии, терзаемого красным половодьем, начинается как бы бред наяву:

От красного гаснет,
мутится сознание,
в тяжелую голову
приходит на миг,
что это не Россия,

а поприщинская Испания,
только я сам
не Фердинанд,
а — бык...

Ощувив себя быком, герой вступает с красным маревом в решительный, но неравный бой:

И тщетно, в свободное от красного ход ища,
я иступленный
бросаю
шаг —
из каждого мною истерзанного полотнища
вздымается
новый
кровавый
стяг,
окутывает голову,
снова и снова,
и нет уж сил для нового рывка...
Мгновенье — и в легкие,
разбухшие от рева,
вонзается копьё знаменного древка...
Падаю.
Гляжу
невидящим взором
в предсмертной, дымной тоске:
это не плащ,
брошенный тореадором,
это кровь моя
на песке...

Так приблизительно выглядела она, эта «Поэма о Красном», как он ее назвал. Не шедевр, конечно, но для экспромта недурно. И все-таки, подумал я тогда, значит задевает его за живое не одна только литература...

Боюсь, что слишком притормаживаю рассказ, останавливаясь на второстепенном и начальном, тем более, что самое главное с Сашей, о чем хочу рассказать, случилось уж года три с небольшим после нашей встречи, когда он был на третьем, кажется, курсе. И жили мы с ним тогда на разных квартирах.

То есть он, как я упомянул выше, остался в мансарде, под опекой старичков, а съехал я: мне стало с ним в тягость. Станным образом, когда я был занят своей диссертацией, просиживая над ней иногда до утра, я очень мало замечал его присутствие в комнате. Когда же стал посвободнее — начали меня раздражать кое-какие в нем штрихи: прежде всего, пожалуй, этот неподвижный взгляд в угол, который ощущался иногда за спиной или сбоку, словно какой-то самостоятельный и тревожащий предмет; потом — привычка подрагивать коленкой, пускать в мундштук слюну, чтобы потушить папироску, и многое другое, вполне незначительное и мелкое, что замечается только, если живешь вдвоем в комнате в двенадцать метров, часть которых вдобавок крадут скошенные над головой (так что не выпрямиться) потолки. Я ценил Сашу и знал, как часто мелкое раздражение (он его, слава Богу, не замечал) может перерасти в лютую вражду: поэтому рад был, когда случай переметнул меня на другую жилплощадь, в более бойких местах, у новостроек, но удобную.

С Сашей расстались мы впрочем нельзя сердечней.

2.

Бывал он у меня на новой квартире кое-как: то пропадал месяцами, то забегал через день; чаще всего — по книжным делам: я собирал тогда библиотеку, а Саша был великий мастер выуживать книги — и у букинистов, и из-под прилавка магазинных старушек, и просто откуда-то «с рук», денежным соблазном или «в обменку». Вокруг книг, главным образом, и велись у нас с ним разговоры (он непостижимо много читал, и память была изумительная — живой справочник и карточка цитат). Говорили, конечно, и о литературных делах, в том числе о его институтских, однако довольно вяло, без всяких особых «порывов души».

И темп и порывы появились позднее, когда Саша влюбился. Обнаружилось это после его возвращения из какого-то дома отдыха на юге, кажется — в Геленджике. Помню, очень меня удивило, что с ним такое случилось: я воображал его себе иначе — думал, он прощает в жизни мимо любовного восторга. Не тут-то было! Из него, как из пульверизатора, так и брызгал этот самый восторг, когда он явился ко мне одним

августовским утром, и он напрасно пытался закамуфлировать этот восторг морем, которое-де «чудо как хорошо! никогда даже и не подозревал, что так замечательно!» Он затопил меня своими морскими стихами, и в глазах его, когда он читал, вместо былой тяжеловатой сосредоточенности, стоял некий подвижный почти наркотический полублеск. Стихов не помню, конечно, разве только отдельные строчки. Вроде:

Зноен день, и высока вершина,
Плещет синим в золото прибой.
Угости из своего кувшина
Ледяной серебряной водой. . .

Иное он обрывал, не кончив, перескакивая, читал галопом, явно спеша, как я понимал, добраться до темы «о ней». И добрался:

«Капитан» по икры в пене бродит,
В золоте и икры и спина,
И робеет до девичьих бедер
Доплеснуть прохладная волна. . .

— Кто это «капитан» с девичьими бедрами, Саша?

— Девушка одна. Там, в Геленджике, познакомились. Вы знаете Геленджик? Там бухта и два мыса — Тонкий и Толстый. На Тонком чудесный песок и купанье. И рифы — грядка такая в море. Мы все туда плавали. . .

« — Вон туда!» — сверкнула рука мне
Брызгами, в синеву. —
«Вот на том отдохнем на камне.»
«Есть, капитан. Плыву!»

И далее все в таком же приблизительно духе. Было воскресенье, и мы так и провели весь день вместе, включая обед в Парке культуры и чай у меня, — за стихами и разговорами. Самое же главное: я узнал, что встреча с «капитаном» вдохновила Сашу также и на прозу, которой, по его словам, от него давно ждали, даже требовали в творческом институтском семинаре. Тема должна была быть что-то вроде «любовь выпрямляет», или во всяком случае способствует всяким, в том

числе и трудовым, подвигам. Что ж, неплохая тема: и современная, и с душой. . .

— Я хотел роман, но боюсь, не осилю. М-м-м-ало времени. Ищу еще заглавие. . . Вертится где-то вокруг «Рука об руку», но это, конечно, банально. Я хотел «Двое на камне», но нет, не годится и это, Тесемкина удар хватит, если услышит, он меня и без того в декадентстве подозревает. . .

Тесемкин был у них факультетский парторг и одновременно — творческий Сашин руководитель. Я его знал: помимо курносой бдительности, в лице его жило что-то несомненно пришибеевское, особенно в складках лба. Глядя на него, я всегда думал с грустью о пестуемых им талантах.

— Да, разумеется, «Двое на камне» Тесемкину вынести трудно. Ничего, придумаете другое. Желаю успеха, Саша. . .

На этом он ушел, оставив мне стихи — жиденькую тетрадку и черновики из кармана — для более подробного знакомства. «До утра. Утром мне уже понадобится, забегу к вам». . . — сказал он, и я понял, что «капитан» с золотыми икрами никак не остался в Геледджикской бухте, а доплаывает теперь остаток сезона где-нибудь совсем неподалеку, в московских пресных водах. Стихи оказались довольно слабыми: как это часто бывает в таких случаях, читатель не видел за строчками того, что от восторженности видел сам автор. Понятно, говорить об этом Саше, когда он поутру за ними прибежал, было не время.

* * *

А потом он пропал. — Не показывался всю осень, весь конец года; ничего не ответил мне на открытку насчет новогодней встречи. Телефона у него дома не было (старики телефона не признавали). К концу, кажется, февраля, уже затемно, я отправился к нему сам.

В своем новом районе я поотвык уже от тихости старой Москвы. Синий заметенный снегом переулочек с одним только заговорщицким пятном фонаря, заштрихованным медленно спускающимися снежинками, выглядел как заклинание в некую вековой давности быль, и я, помню, даже замедлил шаги навстречу его снежно-летаргическому ритму. Маленький двор внутри был тоже весь в сугробах по стенам, как в люльке. Кослячок фонарного света, клетчатый от попутных веток, падал

на дверь сарая, где жил медведь. Когда я скрипнул калиткой, медведь заворочался, забренчал цепью и вдруг забарабанил в дверь лапой, со свистом дыша в щель и подревывая, — верно, забыли на ночь его покормить. Я решил вынести ему на обратном пути хлеба и, отыскав наощупь кнопку, позвонил коротких три раза.

Но дверь мне открыл старичок-архитектор, в ермолке, похожий в красноватом полумраке коридора, пахнувшего краской и кошками, на врубелевского «Пана», — он еще больше, как мне показалось, заволосатился.

— Юноши нет дома! — сказал архитектор. — Но прошу ко мне... Нет, нет, без увиливания, вас давно уже ждет распеканция, хотел даже писать... — И притворно насупившись, он потащил меня за рукав, как за ухо, в кабинет. Там я сел на кушетку, заваленную ватманами и калькой, в рулонах и свернувшейся, как береста, а он забрался с ногами в топкие развалины кресла.

— Вы что же это забросили своего подопечного? — начал архитектор строго, сдувая с губ мешавшую говорить волосатость и сопя. — Известно ли вам, что он тут у нас последний месяц чуть было не сбрендил? А? Эту свою академию, где теперь фабрикуют Пушкиных да Спиноз, забросил, манкирует, в комнате всю ночь свет, а днем спит, и умываться, какжись, перестал — в ванной лужи пропали. Словом, задурил, или как это говорится теперь... за-психовал! Получаю от особого отдела — от Аглаиды Ивановны сиречь — рапорт за рапортом: даже, мол, и не ест ничего, — как быть и что делать? А я почему знаю, что я — психиатр? У меня свое. Меня вот на старости лет опять в конкурс втянули, — он кивнул бородой на чертежи, — слышали? (Я не слышал). — Как же, новый небоскреб проектируем для украшения нашей «бобровой шапки» и для пыли в глаза заморским гостям. Что ж, многие ведь впечатляются. «Эх, живут же люди!» сказал, говорят, один нищий, увидя богатые похороны... Но вернемся к юноше. Поживописнее и с подробностями могла бы вам сообщить о нем Аглаида Ивановна. «Аглаида Ивановна!» — закричал он вдруг, но тут же испуганно сам на себя замахал руками. — Совсем позабыл было — у нее мигрень, и значит не выйдет, хоть и будет потом страдать, что не могла вам излиться. Давайте-ка лучше поднимемся с вами к нему в берлогу. Оно и нагляднее, как сами увидите...

— Аглаида Ивановна, — продолжал он попеременно с одышкой, когда мы поднимались по лестнице, — страсть как все переживает. «Что вы волнуетесь? — говорю ей. — Ведь это не ваш подкидыш? его», — ваш, то есть. — Куда там! Особую слабость питает ко всем дефективным. Из наших окаянных котлов, вы же знаете, половина бесхвостых. Особенно ее тревожило, между прочим, что он бриться отставил — в усах ходит и бороде, хоть икону пиши с него, но щеки втянуло и глаза дурные. Вот она, его дверь... Свет, конечно, не выключен. Входите и не пугайтесь...

В мансарде стоял кавардак: гурты бумажных катышков (черновики) на полу и в углах, окурки на столе, на лежанке — в тарелках вприплюску, в консервных коробках, наваленных горкой вместе с хлебными корками, даже в пыльной бутылке из-под кагора — воткнуты в горлышко. Он и прежде много курил, а теперь, видно, взялся и вовсе без меры — воздух в комнате был горек и сиз, как в театральной курилке после антракта.

— Он, значит, пишет что-то? — спросил я.

— Пишет, вот именно, — сказал архитектор, — в том-то и сила. Взял, говорит, на себя обязательство сочинить за месяц вместо трех лет «Войну и мир» или что-нибудь вроде, никак не менее значительное. И все сроки пропустил: не выходит, видите ли. Обо всем этом разузнал я, подстрекаемый Аглаидой Ивановной, путем весьма решительным и даже лукавым: взял и зашел к нему в один из критических вечеров, как бы за справкой, и прихватил с собой эту вот бутылку (он кивнул на лежанку) под предлогом минувших праздников. Разговор сперва не завязывался ни в какую. Ну а потом... он, как вы знаете, алкоголя не приемлет, и когда мы церковный этот напиток распили, как я и предвидел, обмяк и обрел дар речи. Все тут было: и декламация, и в прозе читал со своих листов, и исповедь — такой винегрет!.. Столько сумбура зараз я никогда не слыхивал. Особенно много было стихов, в коих, как вы знаете, ваш покорный слуга мало смыслит. Но с помощью, так сказать, высшей математики кое-как разобрался во всем. Первое: существует девица, знакомство с которой состоялось где-то среди утесов и скал, и от которой, как водится, весь сыр-бор загорелся. Слыхали про это?

Я кивнул.

— Ну вот... Роман с этой девичей — живой, так сказать, роман — должен был, видите ли, составлять основу литературного шедевра, за который он принялся. Отсюда, заметьте, и вышла самая что ни на есть роковая загвоздка. Именно: в живом романе что-то вдруг сорвалось непредвиденное, и, значит, застопорилось все и в литературном. Что именно сорвалось, неизвестно: здесь он особенно большого туману напустил — не то изменила девица, не то стряслось что-то с ней. В итоге двойная неувязка. И — трагедия: в этом пункте беседа у нас чуть не навзрыд пошла. Да, да, не до шуток. Аглаида Ивановна наутро все веревки с чердака посняла. Не дай Бог, соблазнится... Ну а я пытался, разумеется, его наставить, целый трактат философский прочел — разговор затянулся ведь за полночь. За Платоном вниз сбегал. — Куда там! На Платоне он вовсе раскис и стал клевать носом. Вот ведь что было!..

— Вы все говорите «было», в прошедшем, — а теперь что?

— Теперь кончилось. Я нарочно сначала страшное, чтобы в вас совесть заговорила... Третьего дня к вечеру явился к нам и — небывалый случай! — попросил у Аглаиды Ивановны какого-нибудь провианту — голоден, мол. Ну, Аглаида Ивановна, от радости себя не помня, чуть ли не тельца ему примиренного жарить принялась. А я выглянул, вижу: глаза ожили, румянец горит... А прогос о румянце: вы бы велели ему к врачам сходить, легкие выстучать... Да, в общем — сияет! «Шторм улегся!» — говорит мне. «Корабль продолжает плаванье!»

Архитектор рассказал еще кое-что из Сашиных подвигов, но уже приустал, видно, и все водил недовольно носом по воздуху — очень было прокурено кругом; потом вдруг, забавно сморщившись, так что нос и губы собрались в одно розовое пятно среди сплошной волосатости, — чихнул; когда же полез в карман, вместе с платком выскочили оттуда мелкие какие-то бомбочки, разбежавшись вприпрыжку по углам.

— Ах вы, обезьянки! — ласково сказал он, следя за ними из-под расправившихся бровей, но точчас же снова насупился: — «Пектус», таблетки от носа-горла, постоянный ведь насморк, иначе непременно бы сам это стойло проветрил... А вы уж до дому? Да, такие вот события у нас, в древнем нашем углу. Вы обратили внимание: когда подходишь к нашему дому теперь, ввечеру — чистый семнадцатый век! И надо бы в

этой келье сидеть какому-нибудь Пимену-летописцу, вести нелицеприятную хронику, а не вместо того вон какая бурлит суета. Вы это для мишки? — спросил он, увидя, что я взял было несколько корок с лежанки. — Он, правда, голоден, но лучше не надо: что для мишки две корки? Только расстравите, начнет блажить, а у Аглаиды Ивановны мигрень, и коты беспокоятся...

3.

Старичок-архитектор обещал известить, если снова что случится. Но Саша на другой же день позвонил сам — из автомата с очередью, судя по поспешности разговора. «У меня все в порядке!» — прокричал он в трубку (он всегда кричал в телефон). «Сижте над повестью и в конце марта притащте вам на суд... Не сердитесь, что долго не был...» И так далее.

Но прошел и март, и апрель — за это время мы встретились раза два-три мельком, — а повесть все еще не была готова. Только после майских праздников, когда я вернулся вечером из загородных гостей, принесла мне Поля, домработница, пухлый пакет и сашину записку, написанную, видно, тут же в передней, возмутительным почерком — я так и не расшифровал всего: что-то про то, что очень долго держала рукопись машинистка, а затем просьба прочитать как можно скорее и назначить вечер — «ради Бога, целый вечер, не меньше» — для совместного обсуждения. Я тут же, помню, несмотря на поздний час, начал читать...

* * *

*

Повесть (скорее рассказ: было там всего около сорока страниц) называлась «Не в одиночестве». Я сразу заподозрил (так оно после и оказалось), что заглавие подсказано Саше на «творческих консультациях», очевидно Тесемкиным, — как и кое-что другое в трактовке сюжета и героя. Вот содержание: студент педагогического института Алексей Гришин, в прошлом из беспризорников, — талантлив, пишет стихи, прозу, даже печатается не в одной только институтской стенгазете. Но будущей своей специальностью, школьного учителя, он не

вдохновлен ничуть — воспитывать и учить «вихрастых», как кажется ему, дело некоей «Марь-ванны», а для него... Он много читает и на прочую студенческую серость поглядывает иной раз сверху вниз... За работу в стенгазете дают ему путевку в один из южных домов отдыха, куда он направляется не без байроновского позевывания и с холодком...

Надо сказать, что особой зримости главного образа у Саши не получилось, как это нередко случается, когда кое-что для героя берут от себя. Героиня, тоже столичная студентка, вышла много портретнее. Ее зовут Вера, она начинается с черноморского автобуса, который мчит обоих к прибрежному солнцу. Веру Алексей зовет «капитаном» — не за мужественность — она хрупкого сложения и движения у нее скупые и нежные, и не за страсть плавать, а за некую покоряющую в ней силу, которой он как-то опрометью подчиняется весь. Об этом было в повести несколько превосходных страниц, вместе с описанием, как они отдыхают, как бродят по жаркой кромке берега, засыпанной ювелирными камешками всех цветов, как заплывают в море на камни, раскаленно-серые на поверхности и склизкие, холодные в глуби, если коснуться ногой, — и лежат там часами, выглядывая в дальнем сверкании глянцево-черный пунктир кувыркающихся дельфинов. Да, это было лучшее место в повести.

Был в ней и другой «пафос», вероятно навязанный автору, но от близости к главному согретый и довольно правдоподобный: Вера как бы «выпрямляет» героя, отучая его от взглядов «искоса» на многое — на ремесло учителя, например (она сама будущая учительница): «Вы посмотрите только на их лица за партами!» — говорит она про «вихрастых», — как у них глазенки блестят, как ждут они от вас живого, интересного... Раз, к его неудовольствию, она пригласила плыть с ними на камни невыразительного учителя, который жил с Алексеем в комнате и досмерти ему надоел, — и учитель вдруг оказался великолепным знатоком рыб и моллюсков и настоящим поэтом в рассказах о них. Пришлось согласиться, что учитель «замечательный человек»...

Затем Алексей, как на крыльях, уже почти исцеленный от опасного индивидуализма, возвращается в Москву, дает комсору сообразительство провести на «отлично» пробный урок и сделать доклад «Горький и интеллигенция» — в кружке по изучению марксизма-ленинизма. Оба снова встречаются, и од-

на из встреч в старой половине Парка культуры и отдыха, бывшем Нескучном, в звездопад, когда они никак не могут найти в темной шуршащей аллее скамейки, — описана очень хорошо. Отношения между героями, впрочем, так и остаются на прежней начальной дистанции между «капитаном» и юнгой, но Алексей счастлив...

Здесь, как установил я потом, следовало бы и оборвать повесть: дальше с автором и его сюжетом явно происходило что-то неблагополучное — оба утрачивали вдруг непосредственность, переставали идти рука об руку — автор теперь неволил сюжет, тащил его, как коня за недоуздок на дальний неверный водопой, к завершению «темы», а он, то есть сюжет, упираясь упрямо, хирел и линял на глазах. Эта неудачная часть повести начиналась с того, что на одно из привычных свиданий в Парке Вера вдруг не пришла. Но здесь я приведу для наглядности Сашины п о д л и н н ы й текст (потом объясню, почему и как оказалось это возможным) — несколько главок, которые у него назывались «звеньями».

«ЗВЕНО ОДИННАДЦАТОЕ»

Вера не пришла.

Солнце уже завалилось за набережный борт парка. На пеструю клумбовую площадку выползают из-под кустов и скамеек кособокие синие тени, и от них сразу — осенний сырой холодок...

«Я пришел в бесе-е-дку, где-е с тобой встреча-а-лись»... — поет репродуктор у главного входа. Уж не в одиночку, а конвейером сочится через калитку народ.

Алексей больше часу маячит по полукружью клумбы, заходит и в лучи дорожек — на короткие только дистанции: не прозевать бы! Курит, курит... Вот уже в кармане одна обертка осталась от пачки. И полусмятые черновики — стихи приготовил прочесть...

Не пришла! Она всегда была точной, «капитан». Сколько они раз встречались уже до сегодня? Четыре, нет — три только. Зато последний раз — допоздна. Смотрели с речной балюстрады, как засыпает на другой стороне город, как погружается в синь, постепенно заливаясь огнями, опрокидывая и в реку эти свои огни — дрожащие, гофрированные... Приехав

впервые в Москву, Алексей осудил было про себя ее архитектурную растрепанность, некоторую даже косопузость. То ли дело — Ленинград! Но как посмотрела на него Вера говорящими своими глазами, которым для упрека, даже самого строгого, не нужно было ни прищуря, ни движенья бровей! Нет, он скоро понял, что ошибался, что было в облике этого города, ее города, в лоскутной его пестроте, что-то свое, пусть растрепанное, но родное и материнское. . .

Вот уж вспыхнули фонари по аллеям, разделив полусумрак на лучи и потемки. Теперь бесполезно уже и стоять тут: темно, все равно не увидишь. Как-то незаметно сложилась у клумбы толкучка — задевают даже локтями. . . Да, ждать бесполезно! Репродуктор наигрывает теперь какой-то задиристый марш. Вдали, в глубине, тоже играют оркестры, каждый свое. Странно, когда они были здесь с Верой, он вовсе не замечал этого разнообразия звуков. Как, впрочем, и толпы — парк казался безлюдным. . .

Не пришла!

Шурша непрочтенными стихами в кармане, Алексей бредет к выходу.



Дома, в общежитии, сидит над «Педагогикой» долговязый Бабенко; сопя, отчеркивает что-то по линейке в тетрадке красным карандашом — должно быть, составляет конспект. Виктор Скворцов, другой сожитель, маленький, жилистый, до сизости на плечах загорелый, лежит на кровати в одних трусах, и от него на всю комнату несет потом.

— Чего ж нынче так рано? — спрашивает Виктор, опуская и поднимая суховатую ногу — она у него чуть короче другой. — А читалка?

— Голова болит.

— М-м-м. . . Но, между прочим, папироску брось, либо вали в коридор. Договорились ведь.

Алексей послушно выходит, а Виктор садится и прищуривается ему вслед недоверчиво, приподняв бровь, как делает один известный комик, очень ему нравившийся:

— Голова! Похоже больше: свидание не состоялось. Судя по рожке. Как думаешь, Бабенко?

— А не брещи! — отмахивается Бабенко линейкой.

— Я-то не брещу! — Виктор начинает ходить по комнате, подхрамывая и разводя руки в такт дыханию. — Чертовски сегодня досталось! Ты знаешь, у нас скоро межвузовские по волейболу, — так по шесть часов вкалываем (по хромоногости Виктор занимался только волейболом — «девичьим спортом»). — Я не брещу! — останавливается Виктор за спиной Бабенко. Я, брат, неделю назад собственноручно видел его с девушкой. В Парке культуры. Так что «в тихом омуте»... и так далее. Учись быть наблюдательным, как педагогу, тебе пригодится. . .

Когда Алексей, вернувшись, ложится на кровать, Виктор все с тем же хитрецким прищуром скандирует, словно бы продолжая разговор:

Ты не мучь на-пра-сно взо-ры:
Не придет он... или «она»
так же вот,
Как на зим-ни-е озе-ра
Летний лебедь не при-дет. . .

— Так, кажется, у Уткина, Бабенко, помнишь? По-моему, Горький зря придрался к нему из-за этого «так же вот», что получается, дескать, «живот»... Как ты считаешь, Алешка?

— Не знаю.

— Кто же тогда знает? Ведь — поэт! Я так думаю, что раз в этой строфе про свиданье и вообще про лирическое, то никто так не воспримет: «живот». Свиданье и живот — какая тут ассоциация? Не так ли?

— А иди к чорту! — обрывает его Алексей и поворачивается к стене. Бабенко, положив линейку на стол, раскрывает вдруг большой рот и смеется.

— Ну вот, — сердится Виктор. — Один лается, другой ржет ни с того ни с сего. А разговор вполне академический. Ведь если у Уткина. . .

Алексей не слушает. Ему муторно от множества выкуренных папирос, тоскливо — от несостоявшейся встречи. Виктор подтрунивает. . . Кажется, они видели его в парке в прошлое свиданье. Впрочем, Бог с ним совсем. Что могло помешать Верге? В последний раз она даже запыхалась немного, спешила, чтобы не опоздать. . . Зажмурясь, Алексей видит ее гладко причесанную голову с круглыми крупными завитками на

висках, особенный, только ей принадлежащий, поворот лица, когда она слушает, — не в три четверти поворот, а в какую-то другую бесконечно нежную дробь; родиминку, крупную, с майского жука, прячущуюся под завитком, которая, если и показывается, нисколько не портит лица, напротив — оттеняет даже светлую линию лба и несколько шире обычного расставленные глаза — темные, теплые, слушающие, — они были как аккомпанимент, эти глаза, когда он читал ей стихи, и строчки, казалось, становились от них крылатыми. . . Грустнее всего неизвестность: когда теперь встретятся? О первой встрече договаривались еще на юге, потом шло за разом раз, то есть всего два раза, между которыми были долгие интервалы, но легкие, в почти праздничном ожидании. Пойти к ней домой? Алексей знает переулок на Плющихе, где живет Вера, но идти — нет, идти неловко. Почему неловко? Почему у него, в отличие от какого-нибудь Бабенко, не скажи уж — Виктора, нет простоты, или, как любит говорить Зина, их комсорг, «товарищеского подхода» к девушкам? Впрочем, Вера, конечно, особое. . . Очень неопределенны все-таки их отношения друг к другу, неравны. У нее это, может быть, только так — простое курортное знакомство. . . Алексей ворошит в памяти их разговоры, Верины обращенные к нему слова, перебирает их, как когда-то на берегу перебирали они морские камешки, ища особенных. . . Нет «особенных». . .

Алексей не замечает, как Виктор и Бабенко, сыграв партию в шашки, расходятся по кроватям, и Бабенко тушит лампу под бумажным самодельным абажуром с коричневым прожженным пятном сбоку, похожим на спиленный сук. Он ворочается на кровати, все еще одетый, как лег придя, и думает, думает. . . Можно позвонить. Телефона он не знает, но можно посмотреть в книжке. Верин отец — профессор и в книге, конечно, есть. . . Хотя, кажется, Вера сказала как-то, что они живут в коммунальной квартире. Все равно, можно узнать на работе. . .

В комнате мрак. В верхнем синем переплете окна тусклые звезды. У двери храпит, на каком-то особенно низком регистре, Бабенко. Да, позвонить. . . думает Алексей. Позвоню пожалуйста! . .

«ЗВЕНО ДВЕНАДЦАТОЕ».

Но позвонил он уже на следующее утро, около одиннадцати.

— Кого надо-то? — спросил женский голос, прейбойкий, в который мешались где-то пониже трубки сыпавшиеся детские выкрики и звонкий собачий лай (телефон, значит, в самом деле был общим, и подошла какая-нибудь жиличка). — Кого? Веру? У них ведь неблагополучно, вы знаете?

— С кем небла..гополучно — спросил Алексей, добрав на середине слова дыхание.

— Да вы откуда? А ну замолчите, лешенята, не слышать из-за вас, — сказала женщина вниз, мимо трубки, и детские голоса примолкли. — Кто, говорю, спрашивает?

Алексей назвал себя.

— А, студент... Вера аккурат в лавку побежала, за хлебом. Минут через пять воротится. Тогда обратно позвоните. Или, может, зайдете? Она...

— Я зайду... В двенадцать! — сказал Алексей для себя самого неожиданно и стал подрагивающей рукой нацеплять рычажок трубки, в которой еще булькали, кажется, слова. Потом машинально проверил, не выдаст ли обратно никелированный ящичек с шарнирной дверкой гривенник (ошибка точной механики, которой неизменно пользовались все в общезжитии), и вышел из душной кабинки.

«Почему я сказал: в двенадцать? — думал он, поднимаясь в свой этаж. — Она может снова уйти куда-нибудь, и все снова нарушится... Что-то случилось, значит, с отцом или с матерью. Что?» Он встретил однажды Веру с родителями на Девичьем поле — прошел мимо скамейки, на которой сидели они втроем: низкого роста старичок с таким же, как у Веры, открытым лбом и с седой немного зазорной бородкой — типичный профессор, и мать, полная, рыхлая, с черными выпуклыми глазами — близорукими, судя по тому, как близко к ним поднесла она газету или журнал, который разглядывала. Помнится, он огорчился, что Вера не познакомила его со своими, только кивнула. Неужели умер кто из них? Да, это было глупо сказать «в двенадцать». Может быть, чем-нибудь мог бы даже помочь, а теперь выжидай еще целый час...

В длинном коридоре хлопали двери — все спешили вниз, и Алексей вспомнил, что в одиннадцать было назначено об-

щефакультетское собрание по поводу вызова на соцсоревнование другого какого-то вуза. Задумавшись, он не различал встречавшихся лиц, пока не возникло вдруг перед ним вплотную круглое, в скуластом румянце лицо Зины, комсорга.

— А ты что ж на собрание? — спросила Зина, как всегда запыхавшись и дыша через рот, так что видны были из-под верхней пухлой губы редкие остренькие зубы. — И потом — добавила она, почти придержав его выпуклой грудью, так как он попробовал посторониться, — сегодня в час консультация по педпрактике. Твой урок не за горами, а обязался на отлично. Не забудь!..

— Да, да, помню, конечно, — сказал он уже в пустоту, потому что Зина понеслась дальше, не слушая, и вошел в свою комнату.

Там не было никого и, отыскав у Виктора под подушкой зеркала, он долго и неумело повязывал галстук.



К полудню стал накрапывать дождь; покуда Алексей дошел до Вериного переулка, дождь превратился в проливень — вымочил всего, особенно лицо и волосы (он был без кепки). Тоже и руки он долго вытирал платком и после совал в карманы, чтобы согрелся, — такими вспухшими от холода и сырьюми лапами нельзя будет дотронуться до Вериных рук, а ему казалось, что сегодня он непременно, вместе с теплыми словами сочувствия, возьмет обе ее маленькие руки в свои..

В доме, где жила Вера, — низком, старомодной стройки (крупный этаж на улицу, два мелких — во двор) — действовал лишь черный ход, парадный стоял заколоченный. Войти можно было и через сад, но Вера говорила как-то, что в сад выходит одно из их окон, и Алексей пошел в обход, дворовом, чувствуя себя с каждым шагом скованнее.

Дверь в кухню была отперта. Оттуда несли дружный шип примусов и запах подгоревшего лука. Три женских тулова, качнувшись в сине-сером чаду, повернулись к нему передниками, а над передниками — тремя парами любопытных глаз. В одной из этих пар — на веснущатом лице с двойным подбородком — он почему-то угадал ту, с которой давеча говорил по телефону, кивнул ей. Она в ответ пошла из кухни, вытирая

на ходу о фартук толстые пальцы, и с порога поманила его. Он прошел за ней в коридор, волнуясь при мысли, что сейчас встретит Веру, и сам удивляясь этому волнению. Но женщина в веснушках остановила его у окна, под светом, и живо осмотрела, как ощупала, глазами-глядялками его мятый плащ, намокшие волосы. «Что ей так интересно? А где же Вера?»

— Верочка в больницу поехала! — сказала женщина, все еще продолжая осмотр — теперь на очереди были его не первой крепости ботинки, наследившие на полу. — Аккурат с двенадцати приемные часы. Я ей о вас докладывала. . .

Она не сразу выколупнула влажным еще пальцем из фартучного мелкого кармашка записку, сложенную квадратиком во много раз.

«Папа при смерти», — прочел он. «Я все дни в клинике. Ждем исхода. Сейчас мне не до встреч, Алеша. Привет. Вера».

— Что с ним, с профессором? — спросил Алексей, не сразу опуская записку.

— Сердечный удар! — Рыжие веснушки остановились на нем значительно, но тотчас же снова двинулись в сторону, когда она не то с сочувствием к нему, не то наставительно, добавила:

— Убивается Вера. . . Не до гостей! Тоже же ведь и другие приходят. Разве ж время? . .



Кажется, он не сказал ей даже «до свиданья». Не поблагодарил за записку. Впрочем, стоит ли думать о таком пустяке после того, что случилось. Хотя, что именно случилось? . .

Тучи на небе расплзлись, выпустили солнце. На неровной булыжной мостовой и на выщербленном тротуаре вспыхнули серые лужицы, светлые, с голубоватыми небесными лоскутками, не похожие на осенние. Зато на бульваре все шуршало и липло осенним листом. Алексей сел на скамейку, бугристую от дождевых брызг по масляной краске. Что же случилось-то? — «Да ничего!» говорил в нем чей-то голос, похожий на голос Виктора. «У каждой девушки есть папа-мама и прочие предки, с которыми всегда может что-нибудь стрястись, по древности лет. Тревоги и траур, однако, временны». . . Но другой голос, кажется, его собственный, не соглашался, объявлял

с дрожью, что эта записка, сухая и скудная, — горькое подтверждение давешних мыслей о неравенстве их отношений. «Не до встреч» — как все-таки легко это она написала. Что ж, у нее, конечно, много знакомых... «Тоже и другие приходят»... Да... А ему... чем ему заполнить это страшное возникшее вдруг одиночество?

С бессолнечной стороны неба, из-за домов, принесся тягучий фабричный гудок. «Красная роза», шелковая фабрика. Час дня... Час дня! Консультация по педпрактике. Зина. — «Не забудь! Обязался на отлично»... Что значит, что «обязался», когда весь мир сейчас для него накренился на самом основном направлении.

Он долго еще сидел на мокрой скамейке, складывая в мельчайшие из возможных квадратиков и вновь разворачивая и читая записку Веры. Так и застали его за этим занятием Виктор и Бабенко, возвращаясь из столовки.

— Ты что ж обедать-то? — спросил Виктор, и на лице его на этот раз не было почему-то обычной иронической ухмылки...

4.

Было уже за полночь, когда я дочитал до этого места, а оставшиеся шесть-семь страниц только перелистал — они, на мой взгляд, были еще слабее. Идейный замысел повести «закруглялся» в них вовсе примитивно: «коллектив», т. е. обрисованные выше Виктор, Бабенко и комсорг Зина, помогают Алексею преодолеть одиночество. Зина сама прорабатывает с ним план опытного урока; Бабенко достает для него какие-то справки, не то цитаты; Виктор знакомится с Верой и неожиданно привозит счастливое известие: некий удивительный хирург, вроде Платона Кречета, делает Верину отцу удивительную операцию сердца. Верин отец спасен. Герой и героиня, наконец, встречаются и, выяснив свои подлинные друг к другу чувства, шествуют рука об руку по празднично убранному предоктябрьскому городу... Вот какой хеппи-энд!

Как уже я говорил, все это, по сравнению с романтической первой частью, было вяло, натянато (конфликт, например, в

связи с болезнью профессора — особенно). Вместе с тем было ясно, что и эту вторую часть повести Саша писал о себе, о пережитом, — писал, очевидно, в те самые вечера, когда «чуть не сбрендил», по выражению старичка-архитектора. Что же переживал он там, в мансарде, засыпав все вокруг черновиками и окурками? И если переживал, почему так бледно вышло литературное претворение?

Помню, кончив читать, я долго об этом раздумывал, несмотря на позднее время. Потушил свет, откинул штору: за пыльным стеклом (давно надо бы вымыть!) ночь чернела, как омут, с блекло-желтыми кляксами звезд. Раскрыл окно, и она, эта ночь, стала шелково-синей, прозрачной, засияла, заискрилась, умытая стылым весенним воздухом Москвы, которым надо подышать, чтобы представить себе, — рассказывать о котором бессмысленно. В этой лирической позиции у окна — я должен теперь признаться — занимала меня тогда, и даже захватывала, не столько собственно повесть, сколько другое, побочное, так сказать, но вполне примечательное обстоятельство: я з н а л Сашину героиню! — целый ряд любопытных штрихов и совпадений в повести убеждал меня в этом, не говоря о портретности: автор даже родимого пятна «величиной с майского жука» не захотел отнять у героини. Да, я знал эту его Веру в жизни, хоть мы давно уже не видались. Он, разумеется, изменил имя. В жизни она звалась иначе...

На одну-две странички я должен повернуть свое повествование вспять — в раннюю весну минувшего года. Я читал тогда лекции на одних курсах по подготовке в вуз, на Моховой. За передним столом, как раз против меня, сидела приметная пара — паренек и девушка, оба черноголовые, волнистоволосые, с темными внимательными глазами. К этим глазам я постепенно, как это случается с лекторами, и привык преимущественно обращаться, выделяя из прочих. Паренек был сыном весьма известного литературного критика, фамилию же отца девушки, этнографа М., я тоже встречал в печати. Ее самое звали Виктория, коротко — Вика. Оба были, видимо, очень дружны, но потом паренек пропал, и последние весенние месяцы встречал я, глядя по привычке на этот первый стол, только одну слушающую пару глаз. Однажды, одеваясь у вешалки после лекции, я почувствовал эти глаза за

своей спиной и, кто знает почему, как это часто бывает, понял, что она сейчас ко мне подойдет. Она и подошла, уже у выхода, — спросить что-то об одном драматурге, о котором говорил я в тот вечер. Покуда я отвечал, мы прошли Университет и всю Воздвиженку (удивительно хорошо она слушала!). Потом посидели немного на Гоголевском бульваре. Да, она удивительно хорошо слушала, а в диалогах как-то схватывала даже не высказанное, а лишь подуманное, без слов. На бульваре, впрочем, сидели мы почти уж молча, разглядывая разные вечерние эффекты: пропитанное невидимым светом, пунцово плескалось на меловой колонне какое-то первомайское полотнище, а над головами у нас, сквозь переплет еще острых почек и словно бы бронзовых ветвей, сочился на высокой невидимой проволоке уличный голубовато-молочный фонарь. . .

Неделю спустя или две мы пошли с ней в театр на пьесу того же интересовавшего ее драматурга. Иногда на занятия приносил я ей книги, которые трудно было достать. Последние несколько книг дал ей уже летом, в июле, на вечере — с музыкой, танцами и даже вином — по случаю окончания курсов. Она сказала, что собирается на юг и возьмет их с собою в дом отдыха. В сентябре получил я эти книги обратно с посылным, а по телефону — всяческие приветы и краткий отчет: сдала благополучно экзамены и поступила в такой-то педагогический институт. С тех пор не встречал ее больше, то есть вот уже полгода, и за это время, оказывается, она успела перекочевать на страницы Сашиной повести, где я снова ее обрел.

Потом, стараясь заснуть (назавтра было воскресенье, и я хотел ехать за город снимать дачу), все думал о том, как это любопытно — сопоставлять чьи-либо знакомые черты с их литературной репродукцией, в общем все-таки довольно удавшейся Саше; его Вера была очень похожая Вика. . .

А наутро эта самая Вика-Вера мне позвонила.

* *
*

Позвонила Вика так просто, как будто не был этот ее звонок тоже вполне примечательным совпадением (для нее-то, пожалуй, и не был): после нескольких слов приветствий и — о том, что долго не виделись, сказала:

— У меня к вам есть дело... То есть очень нужно спросить кой о чем. Не могли бы мы сегодня увидеться? Если, конечно, у вас есть время...

Я ответил, что вот как раз собираюсь за город, но вернусь часов в шесть.

— Вечер занят у меня... Ах, как обидно! — Трубка у моего уха вздохнула так жалобно, что поездка на дачу, как я почувствовал, повисла на ниточке. Впрочем, был еще выход:

— Поедьте вместе. День весенний, теплынь. А озеро там великолепное.

Мы условились встретиться на Октябрьском вокзале, у выхода на перрон, за полчаса до отхода поезда, чтобы захватить места. Но она опоздала, Вика, так что мы едва вскочили, опрометью, в последний вагон и долго, начиная уже с подножки, протискивались вовнутрь. Ей это удалось, все как-то ее пропускали, а я застрял в проходе — ни поговорить, ни даже разглядеть друг друга в дороге не пришлось. Уже к концу, когда немного повылез народ, увидел я ее издали у окна, между тесно обсиженными скамьями — поезд бежал через лес, и солнечные полосы-взблестки от лесных просек и сквозин проносились по темным ее волосам, обливая их на миг серебром, и пестрили плащ, обидно уродливой выделки. Плащ она сразу отдала мне, когда мы сошли на горячую щебенку полустанка и потом по дощатой лесенке спустились на белую тропу вдоль насыпи. Насыпь была вся в росе и одуванчиках, а справа, на солнце, тепло пах смолою разбежавшийся по мхам ельник. Непривычно нежно для городского уха что-то в нем шелестело и посвистывало. Как всегда, в первую весеннюю вылазку за город, все казалось ослепительно ярким, хмельным, неожиданным. Закинув лицо, прищурившись, Вика долго выглядывала жаворонка. А я смотрел на нее: очень стала тонка — того гляди сломится; впрочем, может быть, это от свитера: вишневого цвета, только что, видно, стиранный, он крепко обтягивал узкую талию и едва выпуклую меж худеньких плеч грудь.

Мы пересекли мокрый луг, на котором росли желтые мелкие с лакированными листиками полевые купавки (Вика набрала их несколько горстей, все отбегая с тропинки), поднялись потом на холм, в выселки, где я выбрал дачу. Здесь, на даче, то есть в избе, за струганым столом у мелкостворчатого окошка с видом на луг, откуда пришли, и на сверкающий

краешек озера, — я рассмотрел Вику как следует. Да, похудела и на лицо: под пунцовой родинкой, как всегда прикрытой крутым завитком, только намек на румянец, щеки бледны и втянуты — не портит ее, но старит, пожалуй. Она недовольно отвернулась, увидев, что я ее разглядываю.

— Вы похудели очень, — сказал я. — А о чем будем разговаривать?

— Немножко позже, когда никто не станет мешать, — ответила она суховато. — Или мы так и останемся в этой избе? Тогда другое дело...

Коренастая хозяйка, стуча румяными пятками по покрашенному полу, принесла сдачу с задатка, кринку молока, стаканы. Села рядом, на самый краешек скамьи, вся настороже, как воробей, от услужливости и любопытства. Вика молча вытянула свой стакан, чуть наклонив голову «в нежную дробь», как писал в повести Саша, и выжидательно глядя на меня уголками глаз. Вот и глаза ее Саша пытался описать в повести — без успеха, по-моему: не было в них никаких выдающихся черт, разве что были расставлены немного шире обычного и казались от этого тенистей и сосредоточенней. Я бы тоже не нашел для них нового эпитета — где уж взять его, новый, все истрачены дочиста, а просто отметил бы, что хороши...

— Мы можем взять лодку и поехать по озеру! — предложил я, и Вика в первый раз за эту встречу улыбнулась обрадованно, а хозяйка принялась объяснять долго и путано дорогу к какому-то «дедке», если лодочная секция еще не открыла прокат.

«Секция» действительно не действовала еще: с полдюжины свежекрашенных лодок килем вверх лежали на глинистом берегу и душно пахли олифой. Зато «дедка», шибко похожий на пушкинского мельника, с цыпками на тощих босых ногах, охотно предоставил нам какую-то расшиву — посудину непомерной величины и разлатости с одной только парой уключин в середине и скользким зеленым плюшем по бортам. Он долго вычерпывал из нее воду игрушечным ржавым ведрком. Потом, выпрямляясь, сказал:

— Хорош! Моторку на ей, конечное дело, не обгонишь, ну да вам ведь не для эстафеты, а так, погулять только... — И упершись в борт жилистой, в глине ступней, отпихнул лодку,

добавив: «Что текёт чуток, не придавайте внимания: больше вершка не набезит, хошь до утра плавай»...

Грузная расшива пахала воду, как плуг. Я едва двигал ее шершавыми от старости веслами разной длины. Выгребши на середину, я вытянул их, переводя дыхание, и посудина тотчас стала, чуть кренясь в стороны и хлюпая. Вика на корме разглядывала берег из-под ладошки — солнце пекло как летом.

Солнце пекло как летом, но от воды струился еще холодок — бежал вместе с ветром и замшевой рябью к дальнему акварельному берегу из одних только полутонов: серо-лиловых — хвойного леса, палевых и шоколадных — прибережного ивняка, и яично-зеленых, того непонятного цвета, которым сквозят по весеннему небу и воздуху только что лопнувшие почки берез.

Когда я отдохнул, Вика сказала:

— Так вот: я хотела спросить вашего мнения об одной вещи... Об одной литературной вещи...

— Не о Сашиной ли повести?

— Угадали. Я хотя знала, что он вам, конечно, покажет. И, верно, с биографическими разными комментариями?

— Нет — без всяких. Что вы знакомы, открыл я только из повести.

— Да? — очень почему-то удивилась она и на мгновение даже задумалась, поправляя маленькими пальцами на виске завиток. Потом, нагнувшись за плащом, достала из кармана в складках экземпляр повести, такой же как у меня, но с жирной авторской надписью поперек титульного листа, хрустнула им в воздухе:

— Вот. Вы, конечно, читали. Скажите, пожалуйста, ваше суждение... откровенно. Что это, удача? Мне очень-очень важно знать...

В этом двойном «очень» был какой-то чрезмерный нажим, — помню, я посмотрел на нее вопросительно: в самом деле, мол, очень? — и она чуть как будто смутилась, но тут же кивнула упрямо: Да, очень! Впрочем, все это было без слов. Вслух я сказал:

— В первой части есть прекрасные места. Это там, где про юг и где автор называет почему-то свою героиню «капитаном». Зато дальше, в самой пожалуй ответственной половине, все фальшиво и бледно. Например, эта болезнь отца, как по-

вод для переживания героя... Что, между прочим, это тоже биографично? или...

Я не dokonчил вопроса: с таким недоумением, почти что с испугом посмотрела на меня Вика.

— Так вы ничего не знаете?.. Не знали? — спросила она тихо.

— Что именно?

— Что папа был арестован. Еще в ноябре. Сидел больше трех месяцев. Я думала вы... вам рассказывал кто-нибудь...

Я покачал головой отрицательно.

— Господи, что это были за три месяца! Мама и сейчас invalid. А я до сих пор во сне вижу, что хожу мимо часовых к этим жутким окнам, справочным и для передач... У папы на службе проводили, конечно, собрание, осуждали, клеймили... В институт пришлось не ходить. Да и дома, знаете, жили мы эти три месяца, как зачумленные, в своей коммунальной квартире, — все нас обходили, а если заговорит кто с оглядкой, то считал за геройство. Ну да вы знаете... Теперь реабилитировали. Даже зарплату всю выдали...

— Он дома теперь?

— В санатории. В нервном. И еще около месяца пробудет. Ужасно боюсь, что так и не переборет того, что пришлось... что случилось. Последний раз, когда была у него, такой был странный, и словно ему все равно, там или дома...

Она рассказывала, отвернув немного в сторону лицо, обхватив тонкими руками колени, видимо, многое все еще переживая, как заново, а я смотрел на ее щеки, родимое пятно, выглядывавшее из-под обращенного ко мне сейчас бронзового на солнце завитка, — и думал... Нет, передать всю толчею мыслей и чувств, одолевших меня тогда, конечно, немислимо, да и не нужно, — приведу лишь самые идущие к делу. — Я думал о том, как теперь, после горького ее рассказа, все прояснялось, становилось на свои места — и Сашины зимние переживания в мансарде, и страда его с повестью, когда он ломал голову, чем заменить запретную правду. Еще — о том, что в эти три месяца травмы и загнанности Вика, вероятно, подозревала, что я знаю о происшедшем, но не хочу звонить или видаться из осторожности, — не отсюда ли холодок, который, я чувствовал, шел от нее в эту встречу?..

Мы помолчали, слушая вокруг тишину и в ней мокрое чмокание нашей расшивы, дальний крик утки («Какая это, дикая

или домашняя?» — спросила Вика), глухие выхлопы какого-то мотора с чуть видного берега.

— Поговорим теперь еще немного о повести, — начала Вика снова. — Все-таки, разве нет неплохих мест и во второй части? А конец?

— Конец особенно неудачен. Автору надо бы показать героя немножко даже одуревшим от счастья: одиночество кончилось, он снова любим и так далее, а вместо этого герой, шествуя под занавес с любимой, разглядывает всякую праздничную бутафорию на улице и портреты вождей! Очень фальшиво. Тем более, что сюжет и здесь автобиографический. . .

Тут она, кажется, хотела возразить что-то, но сдержалась.

— Прочтите, пожалуйста, что-нибудь вслух, для наглядности. . . — попросила она, протягивая мне рукопись. Я начал было послушно, но прочел всего несколько абзацев: Вика, задумавшись, не слушала, и я замолчал.

— Дикая утка! — сказала вдруг она оживившись. Смотрите!

Верно. Нырок. Только что выскочил вдруг, как пузырек, на поверхность, метрах в пяти от лодки. Чуть вмятыми толчками, зигзагами поплыл прямо на нас, ослепший, быть может, на миг от солнца, вырезая две тонких волны треугольником, повернулся в три четверти, в профиль, углядел нас и пропал, как лопнул, почти без кружка на воде.

— Вот я знаю: вон на той дальней ряби вынырнет, смотри-те! — говорила Вика. И действительно, через минуту там вдруг возникла прямая, как свечка, черная шейка и тотчас исчезла. Мы стали следить и угадывать, где появится снова, но потом, присмотревшись, открыли еще и других — целую стайку. Они держались ближе к тому берегу, у желто-зеленых зарослей камыша, образующих внутренние озера и заливы, если отсюда смотреть — голубые и синие.

— Может, поедем туда? — предложила Вика, и я взялся за весла. Дед, хозяин расшивы, все-таки нас обманул: только я сдвинулся с места — от носа к корме побежала по днищу коричневая волна — течи за час набралось уже больше вершка, и Вика поджала под себя ноги.

— Да, я согласна с вами, — задумчиво сказала она. — Вторая часть повести будто на глиняных ногах. Какая это трагедия, что невозможно писать о главном — о страданиях человека, о несправедливостях. На этом ведь выросла наша старая литература, которой будто бы мы наследники. Но сейчас

эти наследники молчат, как ослепли на все. . . Когда я об этом думаю, мне хочется стать телефонисткой, а не учительницей... Между прочим, я тоже хочу грести. Будем вдвоем, каждому по веслу. Ничего, что мокро, я сейчас разуюсь!

Она перебралась ко мне, разбрызгивая коричневую воду почти детскими ступнями с золотистой дужкой загара на узком подъеме. Ничего, гребла она в такт, и мы даже разогнали расшиву — со скрипом, и хлюпом, и визгом уключин — на рысь; но Вике было трудно; я видел ее напряженную, как пружинка, спину, когда она нагибалась вперед, и округленные усилием слабые мускулы и грудь — когда, откидываясь назад, закусив губу, тянула на себя весло. Ей было тяжело, но каждый раз, когда я предлагал бросить, она мотала отрицательно головой и я не настаивал — было необыкновенно приятно чувствовать ее плечо и шевеленье так рядом со мной, почти под моим подбородком. Мы догребли до камышевых заливов, где оказалась мель, поросшая водорослями, и весла стали цепляться. Потом Вика свое совсем увязила в тине, налегла грудью на неуклюжую рукоятку — весло хрупнуло и сломалось.

— Вот так так! что же делать теперь? — повернулась она ко мне виноватым разгоряченным лицом. Совсем близко — я даже чувствовал, как льется с ее щек тепло. . . Вот и теперь, лет двадцать спустя, число я в ряду разных больших и обычно совсем ненужных побед над собою самим и эту — что, подумав о Саше, поднялся тогда и сказал:

— Не беда! Здесь есть в лодке багор, будем отпихиваться до берега.

И я отпихивался, стоя у кормы, до самой дедовой будки, а Вика сидела, грустная, на средней широкой скамейке, с ногами, утопленными по узенькую шиколотку, и маленькие ее ступни под перекатывающейся сверху мутной водой розово просвечивали, как раковинки. . .

Возвратились мы в Москву, помнится, скучноватые, но и чем-то как будто счастливые, одурманенные слегка, как это бывает всегда, первой щедрой порцией загородного воздуха. Когда выходили уже из метро, перед тем, как попрощаться, Вика, глядя мимо меня, спросила:

— Вы скоро увидите Сашу?

- На днях. Он придет ко мне разбирать свою повесть.
- Знаете: я ведь не говорила ему, что мы с вами знакомы. Он не знает. . .
- Вот как?
- Да, как-то не было случая. . . Не говорите и вы.
- Почему?
- Ну. . . — замылась она, — так мне хочется. Впрочем, если вы считаете нужным. . .
- Нет, нет, хорошо, не скажу! — пообещал я.
- На том и расстались.

5.

Саша пришел через день, худой, с натянувшейся на скулах кожей, но в бородке, красиво подстриженной, и вообще при туалете — только галстук был мят и повязан морским каким-то узлом. Я хотел было поболтать с ним сперва о всяком житейском, но он весь пылал нетерпением как можно скорей услышать о повести, уселся на пушкинский мой диван (купленный на гонорар за юбилейные лекции о поэте) и поставил подле себя на валик самую большую из моих пепельниц. Нечего было делать: я взял со стола его рукопись со своими закладками и пометками на полях и начал.

Вспоминая теперь о том вечере, я упрекаю себя за чрезмерную резкость суждений, без оглядки на взволнованность автора и возможные тайные тревоги его (о которых я впрочем не знал). Главное же: занятый своим разбором и цитатами, я почти на него не смотрел — видел, что сидит молча, дрожит ногой и дымит непрерывно, но ни трясущихся губ, ни того, что он так разгорается, слушая, не заметил, покуда он не взорвался. Это случилось уж в самом конце, когда я, подводя итоги, сказал, что повесть его — головоастик, да и головоастик-то почти без хвоста, так как последние главы не вышли. Тут он и вскинулся и, заметавшись по комнате, начал плачущим голосом свой монолог, первой фразой которого я открыл эту повесть:

— Господи, если бы мог я писать, как мне хочется! Головастик — вы говорите? Думаете, я не понимаю сам, что не то? Но кто виноват? М-м-м-отив коллектива! Его навязал мне Тесемкин, как жернов на шею, ну и все потянуло ко дну. Он

же и личный мотив удушил налету. Вы говорите: болезнь надумана. А что соответствует ей в жизни, знаете? — Арест! (Он рассказал уже знакомую мне историю — бегло, не называя имен, но я очень был рад, что не нужно было теперь притворяться ничего не знающим). Да, так вот... Мог я об этом писать? Пропустил бы Тесемкин? цензура? Впрочем, что это я — «цензура»? Это, может, раньше была у нас цензура, а теперь ведь — бойня, вы же знаете... И не только готовое — сами творческие идеи убиваются на корню. Про «даль свободного романа» и «магический кристалл» мог писать Пушкин. А сейчас у меня, вместо этого кристалла — тесемкинские инструкции. Сажусь за стол, вспоминаю эти инструкции — и, понимаете, мысль и образы под пером корчатся и погибают в зародыше. Ах ты, Боже мой, да разве нужна тесемкиным литература! Им подавай пропагандный барабан, для него они, коли надо, сдерут шкуру с самого твоего задушевного замысла. Не пойму, почему о разных там попытках физических либо терроре, хоть и шопотом, но говорят и ужасаются, а с этой вот живодерней духа все так смирились? Почему, скажите?

Он снова бросился было на диван, схватив со стола папиросу. Теперь, когда его лицо и плечи попали в желтый блик абажура, видно было, как землисто он бледен и как прыгает его рука с зажженной спичкой. Глядел я на него, помнится, с удивлением, почти с испугом, не только из-за неожиданности этой вспышки, но и из-за необычности в его устах таких горячих и точных протестующих слов. Теперь, так много времени спустя, восстанавливая здесь его монолог, я все боюсь, как бы не прибавить «своего», притом позднего. Нет, кажется, ничего не прибавляю... Я не ответил на его вопрос, скорее, видимо, риторический: не хотел перебивать. Впрочем он тотчас же снова забегал по комнате.

— Вот вы говорили, что каждый должен искать свою тему, чтобы нутром пережить, чтобы могла развиваться гармония. Где, где такую найти? В личном, в любви, например, нельзя — это, видите ли, не актуально, Из прочих тем самая жгучая — тема страдания. Но и о страданиях нельзя, страдания у нас теперь основное «табу». Это прежде было преступно не написать о «семи повешенных», это прежде была традиция... А теперь? Молчит «пророк»? Но если молчит и, значит, не пророк, то есть ли творчество? Без этой традиции что дает мне... ну, я маленький человек, пусть не мне, — что

дает художнику современная жизнь? Какие идеи, если, конечно, я не хочу считать идеей повышение удоя молока?.. Не знаю, вы старше меня, прошлое ближе видели. Кажется мне иногда: в старой России куда больше было красок и тем. А? как вы думаете? Почитать хотя бы Лескова, Печерского, Горького даже... Буяны, бродяги, отшельники, самодуры, — да, и самодуры, пусть. Но как все богато! Конечно, насилие, несправедливость, но ведь они вызывали протест. Даже и выстрел иной раз раздавался, вы же знаете. Власть тьмы, окурощина, мещанство... Но их никто не возводил в идеал, на них шли, как говорится, в штъки, и поэтому, несмотря ни на что, рождались и романтика и герои...

Он передохнул, закурил, стал ходить чуть помедленнее.

— Насчет приспособленчества и халтуры. Помню, вы говорили: терпеть и писать в долгий ящик, для себя. Но я не могу, не хочу в ящик! В ящик может — кто уж себя испытал, хватил славы. А мы — м-м-м-олодежь, нам надо себя услышать, проверить: что мы, графоманы или голос имеем? Да, мы так и начинаем иной раз — применительно к подлости. Швыряйте в нас камни! Клеймите бездарностями!..

Он говорил еще долго. Пока уж вовсе не обессилел и, окончательно повалившись на диван, стал вытирать платком липкий выпуклый лоб. Отвлекая его от «роковых вопросов», я попытался повернуть разговор на разные мелочи в повести — провинциализмы, неудачные сравнения и прочее. Это удалось. Мы открыли окно, чтобы прогнать дымовую завесу, включили радио. Я достал из буфета бутылку какого-то красного, сыр. Тут, за вином, Саша вовсе утих, а по поводу сыра даже рассказал анекдот (должно быть, из репертуара старичка архитектора) — про учительницу, которая читала в школе «Вороне где-то Бог послал кусочек сыру» и боялась начальства. «Вы, конечно, знаете, дети, что Бога нет?» — поспешила она прибавить. «А сыр есть?» — спросил кто-то с парты...

Но и рассказывая анекдот, Саша не улыбнулся ни разу — что-то беспокойное, тоскливое было во всем его облике.

— Вы стали мрачны, Саша! — заметил я ему, подливая в бокалы. — Удивляюсь немало: в институте все у вас своим чередом. Повесть, несмотря на разные промахи, тоже семиверстный шаг на вашей литературной дороге. И потом, простите, судя по повести и отчасти по вашим прежним рассказам, вас и в другом кое в чем не обходит судьба. У вас — тут я замед-

лил, выбирая слова,— есть близкий друг, девушка. Вы любимы. . .

— Нет! — сказал он, потемнев вдруг лицом и глазами, и на скулах его разглядел я впервые нехороший румянец. — Нет, не любим. . . — повторил он, словно бы про себя, и отвернувшись стал стряхивать в свой бокал пепел. — Но не будем об этом. И вообще я надоел вам, наверно. Пора уж. . .

Если бы в тот час, когда мы молча допивали бутылку, слушающая негромкое радио и — как плывет за окном над вечерними крышами уже сочная, крепко вошедшая в силу весна и где-то совсем близко за нашим домом, рождая чуть внятную дрожь под ногами, вылетает на горб речной эстакады подземный сверкающий поезд, — если бы в тот час мне сказали, что вижу я Сашу в последний раз, — я бы, конечно, оставил его у себя, уложил бы на пушкинском диване, расспросил бы про все без остатка. Но никто предсказать мне такого не мог. И я проводил его, глядя из двери прихожей, как он, сутуля узкие плечи, сшагнул три ступеньки в синеватую тьму палисадника.

А больше я его никогда не видал.

6.

Больше я его никогда не видал. Но история с его повестью не кончена. Здесь мне надо сделать изрядный скачок сквозь пространство и время. — Это было в Баварии, в 46-ом или 47-ом году, когда я нашел вдруг в одном ротаторном журнальчике на шершавой бумаге два Сашиних стихотворения — хорошо известных мне стихотворения из его «южного цикла», вдохновленного встречей с Верой-Викой. Подпись под ними стояла «А. Лаев» — псевдоним, но может быть кто-нибудь и смошенничал, выдав Сашино за свое? Журнальчик издавался в одном из беженских лагерей под Мюнхеном, и я стремглав написал редактору, фамилия которого значилась на обложке, прося сообщить адрес автора: для большей убедительности выдал даже Сашу за родственника, которого внезапно нашел. Редактор ответил, что — да, Лаев-поэт существует, живет где-то в Австрии, по слухам — болен чахоткой, но адрес на конверте с его стихами написан до того

дурным почерком, что ничего не понять. Он, редактор, запросит знакомого в Австрии и мне сообщит.

Я стал ждать: теперь было уже две верных приметы: почерк и болезнь — я припомнил, что Саша писал мне в Р., куда перед самой войной уехал я читать лекции, что у него нашли что-то неладное в легких и что он хочет проситься на юг, в редакцию одной из крымских газет, — для практики и для здоровья. Очень возможно, что там застали его немцы и вывезли. Я ждал и все представлял себе, как мы с ним встретимся, что вспомним и что он расскажет (позже ведь меня уехал из Москвы).

Ждал я всю осень. А в декабре, кажется, пришел вдруг довольно тяжелый, свернутый трубкой пакет — канцелярская папка с бумагами. К ней прикреплен был листок — письмо. Я прочел:

«М. Г.

По просьбе г-на редактора... имею честь с прискорбием сообщить Вам, что журналист А. Лаев, Ваш родственник, скончался 20 ноября с. г. в санатории в К. (Австрия) от туберкулеза легких. Он знал через меня о Вашем запросе и очень обрадовался, собрался Вам писать, но, повидимому, откладывал, ибо, как Вы знаете, этого рода больные не отдают себе отчета в близости своего конца. Движимого имущества после него не осталось. Небольшой личный архив покойного, бывший в переданном мне портфеле (не имеющем ценности ввиду изношенности кожи) я при сем Вам пересылаю.

С совершенным уважением — М. К-ов,
б. штаб-ротмистр 12-го гусарского Ахтырского
Е. И. В. В. К. О. А. полка».

Таков был Сашин конец. «Движимого имущества не осталось»... Кроме папки. В ней, этой палевой, неровно выцветшей папке, были слежавшиеся газетные вырезки, несколько исписанных вкривь и вкось черновых полулистов и — старый знакомый! — экземпляр Сашиней повести, правда, весь искалеченный вырезками, исправлениями, вклейками и пометками на полях — все тем же отчаянным почерком, в котором каждая буква, казалось, словно расколота молоточком, как орех, либо сплющена в ниточку.

Перелистав повесть, я увидел, что это был собственно новый ее вариант. Автор и заглавие взял другое — «Двое на камне» — то, которое когда-то с самого начала придумал. Впрочем, часть первая, «южная», мало содержала поправок, но была безнадежно загублена огромным свинцового цвета с фиолетовыми краями пятном — должно быть, каким-то лекарственным, на всю первую страницу. Пятно, понемножку уменьшаясь в диаметре, прососалось до двадцатой страницы — здесь это была только небольшая рыжеватая клякса, но все равно сквозь нее немислимо было прочитать выцветших букв. Дальше следовало несколько страниц почти без поправок — главки, которые я выше привел в этом своем повествовании. Но уже в последней из них — когда Алексей в доме Веры узнает о болезни профессора — почти все переделано: веснущатая женщина с двойным подбородком рассказывает теперь — шопотом и с оглядкой — не о болезни, а об аресте, — и я поразился, до чего эта, по-новому написанная, сцена вдруг ожила, запульсировала. Прежний текст на этом и кончался. Все остальное — «роль коллектива», парадный конец — было выброшено; на небольшой вклейке рассказывалось, как профессор, отец героини, возвращается домой после полугода тюрьмы и больницы, а затем шло с дюжину совершенно неразборчивых рукописных страниц — другой вариант окончания.

Помню, взялся я его расшифровывать вечером, вооружившись лупой и одиночеством, — все ушли из дому, кроме меня и Арго, хозяйского волка, который где-то во дворе, у забора, то скулил тоненько, то влалаивал басом в шевелящуюся белесую мглу — был снегопад, довольно необычный в эту пору для этой местности, и, верно, псу было не по себе: так плотно прикрыл снег привычные шорохи на земле, на дороге, а сам шуршал и шуршал. . . Мне тоже было не по себе, когда я раскрыл перед собой Сашины каракули — и так вдруг и встали в ушах его голос, его интонации, даже заикание. . . Я не был уверен, что хватит у меня терпения все разобрать, но одолев всего лишь полстраницы — так и остался за столом, как приклеенный, без паузы, не выпуская изо рта сигареты. — То, что я читал, не было только переработкой сюжета, это было продолжение — Саша писал о дальнейшей судьбе своих героев — Вики, ее отца, себя самого — после того, как я с ним расстался, после начала войны; да, я был уверен, что все это

было тоже автобиографично, так и случилось, как он рассказывал. Я читал, задерживая дыхание, не ища уж значения отдельных каракулек-слов, а наспех схватывая смысл целых абзацев. Это уже после, перерабатывая все сам, я обращал внимание на Сашин язык и отдельные изобразительные удачи. Тогда же мне было не до того: я разбирал рукопись как живое письмо от туда. Кончив к полуночи, так уж и не заснул до утра — ходил, открывал окно, бросал Арго корки, чтоб не скулил, и снова ходил, ходил...

Но теперь я просто приведу здесь последние страницы этого нового варианта повести — два заключительных «звена».

«ЗВЕНО ПЯТНАДЦАТОЕ»

Дверь в кухню, как и тогда, во время первого его визита, была полуоткрыта. Безбровое лицо в брызгах веснушек (они стали теперь еще рыжее, чем прежде) приветливо, как знакомому, кивнуло ему сквозь сизый примусный чад; она будто ждала его, эта женщина, его информатор в несчастьи, — провела в свою комнату, пахнущую известкой от стен и непроветриваемым духом сна, с огромной кроватью в коричневой сypи по пазам деревянной спинки.

«Присядьте, я сейчас, только сполосну руки! — сказала она, и он сел послушно, озираясь на глиняные фигурки, свистульки и вазочки с подложенными под них дырчатыми салфеточками — на комод и полках. Она тут же вернулась, как и тогда, на ходу вытирая о передник красные руки и на ходу же вычитывая на его лице, знает или не знает он о случившемся. Не отгадав, села, вздохнула наскоро:

— Вот как у нас... что стряслось-то. Слыхали?

— Слышал... — сказал Алексей. — Куда они переехали, Вера с матерью?

— Кто ж знает-то! Говорят, к знакомым куда-то. А Москва велика... После похорон воротятся. Уехали с одним чемоданчиком. И то сказать: жутко им было здесь оставаться сразу после всего... Ведь такой страх кошмарный! Господи ты мой... Я до сих пор без сна, вы поверите! Как лягу, глаза закрою — так и встанет он передо мной — голову уронил, язык высунутый, шейка тоненькая-претоненькая, а от нее — бечевочка. Ведь как было-то...

Алексей приподнялся — ему казалось не под силу выслушивать все это сейчас, но — нет, нельзя не дать ей выговориться, обидеть, — и он снова сел, опустив голову, глядя на лупившийся, как кожа от загара, крашенный масляной краской пол.

Она выговаривалась долго, во всех подробностях. — И на какой именно крюк («от зеркала — тяжелое у них зеркало — антик, в серебряной раме») зацепил профессор шнур, и как должен был стать на колени, чтобы затянуть петлю, и как «обмерла» профессорша, войдя к нему утром с кофеем, и как Вера («в одной как есть сорочке») билась у телефона, вызывая уже ненужную скорую помощь...

Потом она перешла к прениям:

— Мы так думаем, жильцы, что он уже был тронувшись, профессор. Уже с тех ден, как из тюрьмы выпустили. В санатории приглядывали, а тут, дома, никому невдомек, вот он и суродовал этакое. Неделью только и пожил, подумать только! А кто говорит: это от гордости. Там ведь... — она перешла на шепот — как допрашивают... ух, не приведи Бог! Потом хоть и обелили, а не мог вынести. Гордый...

Она снова колыхнулась во вздохе. Помолчала. Ее немного смущала безучастность собеседника.

— Чтой-то вы уж очень бледный какой? — сказала она, всматриваясь. — Ничего, все перейдет! Обратно с Верой встречаться будете. Она к вам душевна, я знаю, был раз разговор. Ну а сейчас, конечно, себя не помнит. И с матерью горе ей — рыхлая она у них, и тоже вроде как не в себе сделалась. Такого вдруг пережить. Ведь как радовались тогда!..

— Когда радовались?

— Ну, когда отпустили из предварилки. В больницу перевели. В январе это было. Помню, вдруг Верочка — шась в кухню с мороза. Щеки горят, глаза горят, едва дух переводит — так бежала. «Освободили папу!» — кричит нам и мимо идет. Мы примуса побросали. — Как? Что? Постой, расскажи толком! — Куда там! — топ-топ каблучками... Я за ней, в коридор. Шпиц ихний забрехала навстречу. Она дверь в комнату — толк, а не закрыла плотно. Я в щель вижу: «сама» поднялась, лицо белое... Вера к ней на шею... Вроде ничего и не сказала, только слышу, она — бух на колени, а ведь грузная, весь дом ходуном пошел, и — в голос: «Отче наш, иже еси... Услышал ты наши молитвы»... Слов-то уж не помню,

но так у меня в горле и перехватило. . . — У нее и сейчас блеснуло слезой под редкими рыжеватыми ресницами. — Да, собирались жить, а пришлось вот хоронить. . .

— А когда похороны?

— Откуда ж кто знает, когда! День сегодня. . . — она загнула несколько толстых пальцев, — день уж четвертый. Может, уж и схоронили, в морге долго не держут.

— А в какой морг его взяли? — снова спросил Алексей.

— Говорят, в институт какой-то судебный.

— Судебной экспертизы? — Алексей в первый раз за это неладное утро ощутил вдруг невнятный порыв предпринять что-то, действовать и поднялся. — Если так, то это ведь совсем близко отсюда. Можно спросить. Я попытаюсь. . .

— Попытай, милый! — сказала женщина, оживившись и переходя почему-то на «ты». — Попытай непременно! И не в службу, а в дружбу: забеги сказать, если узнаешь что. За ради Бога. Мы ведь тут многие на похороны хотим, жильцы. . .



Кажется, вовсе не нужно было пересекать Девичье поле, но он машинально (потом он вспоминал, что в этот день все делал машинально, в какой-то полуошеломленности) повторил осенний маршрут. Тогда эта жиличка в веснушках рассказала ему об аресте Вериного отца, теперь — о смерти. Все повторяется. Только в тот раз эта аллея, скамейки, серые плотные лужи тоже были словно в веснушках — хрупких или кляклых веснушках палого листа. Теперь солнце проворно и весело сушило голубые непрочные лужицы весеннего ночного дождя. . . У выхода из аллеи, уже совсем по-летнему, чинили тротуар: круглая печка-котел с черной каленой крупичатой кашей асфальта ядовито дымил на всю улицу. Институт с моргом был наискось, через дым.

Почему-то он сразу нашел дорогу — сквозь солнечный с клумбами двор и вниз, шесть треснутых серых ступенек в полуподвал, к двери — «Посторонним вход воспре. . .» — и ржавая кнопка на месте оторванного уголка. Он толкнул дверь, вошел и, с ужасом глотнув липкую волну формалина и тлена, хлынувшую в лицо, остановился, держась за дверь сзади рукою.

Трупы вдоль стен, на столах, стали видны не сразу — лишь постепенно, как на киноэкране, выплыли из зеленоватого полумрака, жестко и выпукло, и от матовой их белизны в рыжих и синих подпалинах у него подкатило к горлу. Он стал смотреть под ноги, видя теперь только кусок цементного пола в мокрых пятнах и чугунную ножку ближнего стола. Потом раздался шорох, и в это серое поле зрения вошли рыжие опорки под штанами в бахроме, край клеенчатого фартука в розовых потеках и, когда он поднял глаза, — лицо в седой щетине, напоминавшее странным образом лицо одного из вождей, но запущенное, без холи.

— Вам чего? — спросил сторож.

— Я спросить... Тут у вас, я слышал, профессор лежит...

— Удавленник? Лежит. Вы что, родственник?

— Нет, я только узнать... когда хоронят.

Похожий на вождя сторож звучно поскреб ногтем щетину на щеке (ответить ли вообще?). Потом сказал:

— В четыре заберут. Гроб уж тут и одежда... Править сейчас будем — вон как его скукожило...

Алексей не хотел и все-таки глянул в направлении его кивка на это жуткое, что долго потом маячило в глазах: острые восковые коленки, знакомая борода под синей скрюченной шеей... Он вздрогнул и отвернулся было к двери — около нее и в самом деле прислонился гроб, узкий, крашенный под дуб, и рядом еще один, некрашенный, и в ногах еще два, крохотные, как бонбоньерки. Он вспомнил:

— А где будут похороны?

— На Ваганьковом, где... Не на Красной же.

— Нет, я думал, может быть, в крематории?

Сторож промолчал неодобрительно.

— Ну спасибо.

— Не на чем! — И уже в спину:

— Там на дверях «Посторонним заходить воспрещается». Читать надо...



Виктор как-то уверял в общежитии, будто на кладбищах по весне пахнет покойниками («мелко закапывают... оттают, осыпется — ну и несет...»), но — вздор! На Ваганькове свежо

пахло листвою, мокрым песком — где дорожки были расчищены, и буйным зеленым быллем — в местах, особенно забытых и забурьяненных. Времени до полпятого оставалось много — Алексей долго бродил по просекам и межмогильным тропкам, читал надписи — кладбищенскую книгу жалоб человеческих, отыскивал обидно неухоженную могилу опального поэта, прошел по «летному уголку» — с пропеллерами вместо крестов и стандартными памятниками с серпом-молотом, похожими на перронные автоматы. Потом, выйдя из ворот, стал ходить вдоль низкой облезло-розовой кладбищенской стены — как бы не прозевать: почему-то сочинил себе сам в воображении медленные черные дроги, либо даже катафалк с горсточкой провожающих, — их и искал глазами на двух притекающих улицах и совсем не заметил было, как прокатил в ворота автобус (обычный для глаза автобус, если бы не черный по ребрам пояс, который не вдруг рассмотришь), остановился и раскрыл темный зев в тыльной стенке; тотчас двое детей с тугими багровыми шеями и веревками через плечо мигом вытянули из него узкий гроб. В боковую дверку, около шофера, вышел старичок в мятом плаще и Вера, вся в черном. Оба долго вынимали из автобуса профессоршу, тоже в черном, грузную, распухшую всем телом. Дальше Алексей не смотрел — бросился к женщине, которая сидела у ворот с пучками каких-то квелых лиловых цветов и сине-желтых «Иван да Марья» в корзинке, долго шарил в карманах, где были только талоны в студенческую столовку; вспомнил, что уже второй раз ищет сегодня деньги (первый — когда собирался доехать до Пресни на трамвае); еще вспомнил, что позабыл сказать жилищке с веснушками насчет похорон, как она просила, — и смущенно отошел от корзины. Гроб уже несли, покачивая, вдоль стены, по боковой дорожке; человек десять шло за ним, если не больше; кто — Алексей не разглядывал, — смотрел только на Веру, тоненькую, как струнка, похожую сейчас на монашенку, — вместе со старичком она вела под руку мать. Откуда-то сбоку, из солнца и пятен между крестов и могильных решеток, поднялась вдруг небольшая фигурка в рясе, торпливо пошла навстречу, на ходу надевая епитрахиль. Яма желтела тут же. . .

Священник служил один, но ему кто-то подтягивал из присутствующих. Алексей раньше никогда не слышал панихиды, и от этих напевов порой так и закипали слезы в глазах. После

одной тяжелой паузы, как только начали «Со святыми...», профессорша вдруг охнула в голос, повалилась грудью на ограду рядом, — и все бросились к ней подымать, боясь, что она поранит себя о ржавые острия решетки.

Когда все кончилось, Алексей так и остался стоять на краю дорожки, у дерева, неловко вытягиваясь и пропуская всех мимо. Впрочем никто на него не смотрел. Только Вера — теперь они с матерью и старичком шли последними, — только Вера, кажется, заметила и кивнула чуть внятно. Алексей долго смотрел вслед. Старуха едва шла, припадая на обе распухлые ноги, и казалось — вот-вот оступится и рухнет, осядет, превратится в сплошную рыхлую страшную массу. С провожатыми по бокам она занимала всю ширину дорожки, и Вера не могла обойти лужиц у самой бровки, которых не успевало здесь высушить солнце. Алексей видел, как глубоко ступала она в эти лужицы крохотными туфлями на тонких подошвах, и, поживаясь, чувствовал, как у него самого зябко сыреют ноги...



Переулочек был сер и тенист от набившихся в него сумерок. Те же сумерки, чуть повыше, в оконных стеклах и просветах между домами, еще играли всеми переливами апельсина и пламени: вечер не хотел выцветать. Потом тени прислонились к заборам, мостовая стала на стрекне синей — где-то над крышами начиналась новолунная ночь...

Алексей и сосчитать не мог, сколько раз он прошел туда и обратно («взад-назад» — говорят иные) мимо Вериного дома. У них был огонь, в их окне. Вера, значит, могла выйти зачем-либо на улицу, либо в сад, или просто выглянуть в окошко, мало ли что... — и он поговорит с ней. Зайти самому? нет, на это у него духу не станет, и с чем, спрашивается, кроме банального соболезнования, мог он к ней обратиться? (Только два дня прошло с похорон). Другое дело, если случайно... Почему-то он твердо верил в эту случайность именно сегодня вечером и ходил, ходил. Дойдя до конца переулочка, заворачивал за угол: здесь, на пыльном большом пустыре, с полдюжины ребятишек носились в потемках в «палочку-выручалочку». Носились с визгом, улюлюканьем, вкусно, и он останавливал

ся, глядел. Потом голоса их исчезли, стало очень тихо, и он вдруг с удивлением и почти испугом услышал, как гулко звучат теперь в этом пустом переулке его шаги — с другого невидного конца, словно в теннис ракеткой, подкидывало и бросало обратно их эхо. Он попробовал ставить не так слишком уж прямо ступни, но это не всегда получалось, и было неловко. В одну из таких попыток — он как раз проходил мимо Вериного дома и сада — там, в этом саду, рассыпался звонкий лай. Он застыл на месте.

— Алексей... Алеша! — позвал Верин голос.

— Мы слышали твои шаги, мы с Гунькой! — говорила Вера, придерживая шпича за ошейник (а может быть она нарочно отворачивала исхудавшее лицо от его и в темноте сияющих глаз). — Но я ни на секунду теперь уйти не могу... Мама все плачет... Сейчас будто уснула. Пойдем в сад, на скамейку, мне надо кое-что сказать...

Когда они сели, Вера помолчала минутку, как бы что-то обдумывая. Потом сказала:

— Знаешь, послезавтра мы уезжаем.

— Далеко?

— На Волгу, в К. Там у мамы сестра, учительствует в средней школе. Так вот к ней...

— Надолго?

— Надолго. Может быть, насовсем... — ответила она тихо, но тут же, положив на плечо ему руку, добавила решительнее:

— Здесь нам оставаться невысказано, Алеша, милый. Не говоря о разном другом, самое главное — мама совсем не может одна. Здесь я рискую... ох, даже при мысли одной дрожу — и ее потерять. Там нам будет легче. Буду преподавать язык и литературу в семилетке...

«А я?» — хотелось ему задать вопрос, самый жгучий сейчас для него, но вместо этого вышло:

— А институт?

— Что ж институт! — ответила она дрогнувшим голосом, и он понял, что эта тема была, может быть, самой жгучей для нее. — Сейчас я бы там все равно не могла... Разве после, когда все забудется. А сейчас... Господи! — вытянула она перед собой тоненькие руки, хрустнув пальцами, — если бы кто знал, какая теперь вокруг меня и во мне пустота! Когда что-то внезапно потухло, ушло, и чувствуешь, что тебя... что тебе нечем жить... — Конечно, у меня остались привя-

занности, но привязанности это ведь не... — Она вдруг обрвала сама себя, тревожно прислушавшись. — Мама плачет: надо бежать. Алеша, я не хочу прощаться сейчас, позвони завтра — я скажу, когда приехать на вокзал. Не огорчайся, может быть еще после и встретимся... Гунька, Гунька! — позвала она собачку и посвистела тоненько. — Домой!!

«ЗВЕНО ШЕСТНАДЦАТОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ»

Он вышел на Zubовскую, сейчас темную и пустынную; плоский, как плющ, свет стеной лампочки на углу обозначал огромное устье Садовой, тоже темной теперь, с потушенными лунами фонарей. Лет пять назад здесь об эту пору все кипело листвою: зеленое липовое опоясье облегало Москву, — его посекали, повыворчевали, прижгли конопатость асфальтом, пригнули фонариками. Вероятно, кому-то казалось этак красивой, нужней. Может быть, и в самом деле было так лучше и привязанностью москвичей к старым бульварам стоило пренебречь. «Привязанности — это ведь не...» Что она хотела сказать, Вера? «Привязанности — это не любовь?» Да, разумеется, не любовь, поэтому они легко выкорчевываются. Впрочем, сейчас все легко выкорчевывается — дружба, например, да и сама жизнь. Надо всем будто что-то висит... как топор. Вот и над ними — им и Верой — тоже, он чувствовал это уже в первую их встречу, даже в самые солнечные минуты... Море блестит, Вера плывет к нему, вскидывая против солнца мокрые маленькие ладони, кричит что-то веселое, в брызгах, а у него щемит сердце предчувствием мимолетности всего этого, не то беды. Хотя, конечно, он старался тогда тушить тревогу. Восхищаться. Даже в стихах:

«Вон туда!» — сверкнула рука мне
брызгами в синеву, —
«Вон на том отдохнем на камне!»
«Есть, капитан! Пльву!»

Близкие сердцу, но какие жалкие стихи! Жалкие — потому, что не об этом мотыльковом счастье надо было писать, а о жизни, которая не одним только мотылькам обрывает, выламывает крылья. Да, об этой вот жизни и писать, вырвавшись из лжи в какую ни на есть, пусть самую наивную прав-

ду, — хотя бы к Карамзину, например, к «Бедной Лизе». Вот и писать об этих «бедных Лизах», которых теперь уж не обманутая любовь, а нечто невпример более страшное тащит в омут, которые, заламывая руки, тоже восклицают «нечем жить!» и молят, чтобы «поглотила их земля», или как это там, в карамзинской повести. . . О них и писать. Не об идиллическом морском камне, горяче-шершавом, навевающим «сладостный сон», а о камне, которым одевают человеческую жизнь, — ледяном, сплошном и безжалостном, на котором и двое, и четверо, и тысячи — всегда в неизменном и страшном одиночестве. По плечу была бы мне такая тема? — спрашивал он себя. — Может быть, и по плечу. Если б мог, если бы только мог писать, как хочется. . .

Прошел к Девичьему последний, должно быть, ночной трамвай, налитый внутри синим защитным светом. Проползая под узлами проводов, вычиркнул искру, ослепительную, как вспышка магния, сдернувшую на мгновение с площади ночь. Алексей свернул во тьму на Садовую: надо было что-то додумать. . . Но тьма, чем дальше он шел, тем заметнее синела и таяла: серо-лунно, асфальтовой заводью, вылегла перед ним улица, такая широкая, что едва различались каменно-рваные очертания домов на той стороне. Гулко несся над нею стук его шагов, но эхо на этот раз не было — звуков и шорохов не возвращал назад дальний каменный берег. . .

7.

Таков был новый конец повести — немножко наивный, но правдивый и свежий, как мне кажется (я все боялся «состарить» его своими поправками и реконструкциями); главное же — документальный: Саша только сместил время немного назад — правда, сделав одну предательскую ошибку (не знаю, бросается ли она в глаза): развязка повести происходит у него до войны, а в заключительной главке — Садовая вечером без фонарей, и в трамвае синие лампочки.

Эти синие «противовоздушные» лампочки мгновенно напомнили мне собственные мои московские предфронтные встречи и, читая Сашины каракули, я невольно сопоставлял Сашино и свое, вчера и сегодня, бывшее и несбывшееся никогда.

В канун моего отъезда на фронт у меня была лекция. О ней объявляли в «Вечерней Москве», поэтому пришло порядком знакомых — не столько послушать, сколько проводить. После лекции я пригласил кое-кого к себе. Мы выпили уже по нескольку «посошков», когда у дверей позвонили. — Вика!

— Я знала, что у вас гости, и вот решила проститься. . . — сказала она с горячими от такой решимости щеками, но с той милой естественностью слов и движений, которую я у нее любил. Мы просидели всей компанией почти до полночи, стараясь, как это обычно бывает, смехом и шутками перекричать грусть. Потом, после многочисленных тряских рукопожатий, я пошел Виду провожать. Ночная военная Москва была насторожена и пустынна: улицы темны, и небо над ними от этого особенно звездно и таинственно. Мы шли как раз по Садовой, которая описывается в конце Сашиной повести, и — в самом деле, какой бескрайной казалась в потемках ее серо-выпуклая асфальтовая ширина. О самом Саше по дороге было сказано несколько беглых слов. — Да, он очень мил и талантлив! — отозвалась Вика на мою похвалу. — Но его надо постоянно, как бы это выразиться, выпрямлять и поддерживать, очень много отдавать этому времени. . .

— Что ж, ведь у вас крепкая дружба! — заметил я.

— Одной дружбы для этого мало, а у меня. . . Я так сейчас занята, — закончила она, вероятно, иначе, чем хотела вначале. — Через неделю вернется из санатория папа, и дел еще пуще прибавится. . .

В повести Саша поселил героиню в особнячке (для большей поэтичности, вероятно, и чтобы приделать сад). На самом деле Вика жила в новостройке, на третьем этаже. В подъезде и на лестнице брезжил синий едва различимый свет.

— Зайдите на минуточку к нам, — сказала Вика. — Я хочу познакомиться вас с мамой.

Собака, залаявшая нам навстречу, тоже оказалась не шпиц, как у Саши, а старая такса, по имени Джильда, вся в вислых складках и с бельми, злыми ободьями глаз. Она ревниво облаяла меня, когда я здоровался с ее хозяйкой. У Викиной мамы были отекавшие желтые щеки, и подрагивала, когда она разговаривала, голова. Услышав мою фамилию, она спросила об одном моем родственнике, женатом, оказывается, на ее двоюродной, либо еще дальше, сестре.

— Мама, что ж ты раньше не сказала, что мы, выходит, свойственники? — огорченно спросила Вика.

— Ни к чему как-то было. И думала, что просто однофамильцы... А теперь вы что же, на фронт?

— Да, завтра.

Она тяжело поднялась с кресла, шагнула ко мне, неровно дыша:

— Ну, храни вас Господь...

Потом мы вышли с Викой на лестничную площадку, всю в голубых потемках.

— Вам не кажется, — спросила Вика тихо, хрустнув пальцами, — что мы оба прошли мимо чего-то важного, что принадлежало только нам... одним?..

Я видел близко перед собой ее без румянца горевшие щеки, такие большие и скорбные в полумраке глаза и как-то вдруг понял, в одно с ней дыхание — да, прошли мимо, воистину...

— Встретимся ли когда-нибудь? — шепнула она еще ближе, и я, как тогда на озере, чувствовал жар и свежесть ее лица. В ответ на мой поцелуй она прижалась ко мне, схватившись тонкими пальчиками за мои плечи; ее всю сводило от сдерживаемых слез, от горечи и какой-то особой безжалостности этой нашей встречи...

Как все перепутано в жизни, трагическое и смешное! Джильда, такса, вдруг зарычала у меня под ногами и — залилась на всю лестницу, топырясь на нас своими короткими лапами и вскидывая вверх глупую узкую морду. Так, помню, и снял я с себя осторожно Викины руки и пошел вниз по расплывающимся перед глазами ступеням — под этот проклятый подхваченный гулким каменным эхо раздражающий уши лай...

Это «прошли мимо» вспоминалось потом не раз — на фронте, в плену, в лагерях. Сквозь вздох, конечно: в окопах, тем более — за проволокой, слова «прошло», «прошли мимо» и прочие в этом роде содержат всегда неодолимую, почти мистическую грусть...

Но и она в прошлом.

Теперь, когда все улеглось, когда не за горами уже то единственное, чего миновать не может никто, — стало как-то яснее, что проходить мимо увы! и значит собственно жить...

1956 г.

**СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ
ПОВЕСТЬ**

*О память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной!*

К. Б а т ю ш к о в

1.

Эту повесть я начал в Москве! Москва! Когда, зажмурившись, произношу я это имя, я слышу московский воздух. Один мой друг и земляк, объехавший мир, уверял, что любую столицу узнает с закрытыми глазами, если высадят его в ней, скажем, с самолета. По запаху. Воздух Москвы, говорил он, необыкновенно тонко пахнет свежераспиленным деревом и юфтью. По веснам — сиренью и юфтью. Пахнет чисто, свежо, как ни в одном другом из городов-громадин мира. Не знаю, прав ли он в отношении других городов, но именно такой воздух вдыхаю я, вспоминая Москву. И вижу ее — Москву того времени, когда начинал писать эту повесть. Была эта Москва майская, предвоенная. То есть, значит, почти совсем безночная, когда на поздних вечеринках последняя бутылка каберне распивалась под шопот (чтобы не вышло скандала с соседями), а кофе за ней подавали уже — при сиреновой щели в гардине, в раскрытую форточку вываливался дым и втекала нежная россыпь приглушенных утренней сыростью звонков первого трамвая. Потом гости уходили. И, замечал я, если они охотно уходили гурьбой в другое время года, — в эти весенние зори уходили непременно поодиночке: каждому хотелось надыхаться московским рассветом вдосталь, без разговоров и суеты. И я уходил один и вбирал в себя рассвет, его сиреневую свежесть, его тающую сизость, шипенье заспанного еще дворничьего брандспойта, шорохи растекавшейся по тротуару водяной струи и мчащихся в стороны водяных капель, заку-

тавших в пыль и песчинки, липкий трепет и причмокивание попавших под струю недавно высаженных вдоль тротуаров липок. А воздух! воздух! Он срывался со всех московских холмов, лился в прокуренное горло вдохновительно пестрый и пьяный, как коктейль: с Кремлевского — прохладный, торжественно-бронзовый, от Нескучного — березовый, от взлетающих над рекою мостов — влажно-рыбный с зеленой гранитной плесенью...

А если это мои гости от меня уходили, я провожал их через весь наш — в траве по краям — поленовский дворик, до скрипучей, тяжелой, в железных тугих воротах калитки с высоким, почти до колена и потому особенно, почти символически, уютным порожком. Если же гости были очень милые — переваливал вместе с ними порожек и шел дальше, переулками с щербатой мостовой, до Девичьего поля. Они входили в еще синюю, сырую, еще совсем пустынную аллею, а я оставался в устье ее, около скамейки, испещренной росой и перочинными вздохами влюбленных, и, не садясь, смотрел, как голубела листовая глубь, и вот вычертился под стриженным обшлагом акаций, на своей клумбе каменно-безрукий Лев Толстой, а немного левее вспыхнул над ним рыжий портал недавно вымахнувшего на весь бульвар здания. На верхний край портала, скалясь пушкой, громоздко наезжал танк, бронзовый впрозелень, а сейчас — весь в нежнейшем румянце. Очень мне нравился этот портал, и танк — особенно, и когда, оказавшись однажды во внутреннем зале рыжего здания, увидел я в окно с кафедры уже совсем близкий — рукой подать — этот танк с отцепившейся сбоку истлевшей фанерой, крашеной зеленью, я был по-ребячьи огорчен, что бронза оказалась бутафорией...

А когда возвращался в свой переулок, он уже шевелился спросонья: моргал то там, то тут форточкой, а то и целой распахивающейся рамой с выдувавшейся вслед занавеской, звякал по коммунальным кухням прочищаемыми примусами. В чердачном окне переднего дома на нашем дворе несовершеннолетний гангстер голубинового спорта, веснушчатый и длиннощелый Валька, то высовываясь, то исчезая, как часовая кукушка, вышвыривал с чердака белосизых турманов в пушистых тамашах. Они взмывали в уже солнечную лазурь, сверлили, резали, мотали и разматывали ее, то растворяясь в ней, то взблескивая серебряно, а Валька, выбросив последнего, дико свистел в пальцы вдогонку, тикал, ухал, извивался, как мо-

тыль на крючке, танцую на хрустящей под ним крыше голубиный танец команчей. Внизу, на крылечко выходил в это время Валькин вечный болельщик — «фабрикантов сын» Артемий Небедома, которого повсеместно звали «Не-все-дома» и за пол-литра приглашали на помывку полов. Не-все-дома, устремив вверх сивую щетину подбородка и обе руки, как бы дирижировал голубиным мельканьем, опуская руку только, чтобы подтянуть штаны, сползавшие с его втянутого живота, или смахнуть слезу, накопившуюся в углу глаза от слепительного созерцания. . . А из бывшей дворницкой во дворе семенила мне навстречу бывшая монашка, иссушенная в ванильный стручок антирелигиозностью эпохи и ядом собственного характера, и, издалека еще складываясь поперек в поклоне, пела в безгубой улыбке: «Раненечко, раненечко поднялись. Денек-то какой будет примечательный. . . А Артемий-то Артемьевич наш — все по птичьей части: стоят, как угоднички Божие, с воздетыми к небу ручками. Голубки-то их совсем иссушили!» . . .

* *
* *

Сама повесть, как действительность, возникла раньше мая. — В марте, помнится, потому что это как раз в марте на всех перекрестках Москвы начинают торчать в корзинах, в ведрах, в зевах киосков и раскачиваться в руках прохожих — вовсе не красивые пыльно-желтые цветы, называемые мимозами, которым только рифма «слезы», повидимому, сделала рекламу. И именно с таким желтым пучком подошла ко мне Женя на верхних наших институтских хорах. Неожиданно, потому что в этот день у нее не было занятий. И — завязала повесть. И вела ее под знаком того скрытого, но безудержного кипения, которым всегда была полна сама, — вела до кульминации, тоже неожиданной, и оборвала ее сама же, когда, кроме нее, уже никто не в силах был дать повести сколько-нибудь гармонического завершения. . . Но об этом после. Сейчас же Женя подошла ко мне (как всегда в последнее время, я еще раньше оклика почувствовал шаги ее по паркету за спиной и — собственный пульс) и положила руку с желтым пучком на широкие выбеленные мелом перила.

— Вы здесь? Я вас очень искала. — Она уголками глаз посмотрела в сторону, где у перил мог стоять еще кто-нибудь, но где не было никого, и сама смугилась этой своей осторожностью, сняла руку с мимозами с барьера и с досадой вытерла о голубой свитер запачканную мелом тыльную розовую подушечку кисти; потом, подойдя к перилам вплотную, заглянула, качнувшись вниз, на статую Ленина у входа в аудиторию и шаркающую по вестибюлю студенческую суету. Только тогда — снова повернулась ко мне, и теперь на порозовевшем лице командовали брови — две широкие темные блестящие прядки, не знавшие краски и щипцов, сейчас сдвинутые к переносью, так что почти касались друг друга пушистыми краями через строгую поперечную складочку. — Когда вы — домой? Можно мне проводить вас немного? Очень нужно поговорить. . .

— Конечно, можно, Евгения Ни. . . — запнулся я в ответе: Женья однажды в специально сделанной паузе, с той особой задушевной и вместе строгой серьезностью, которая ее отличала, попросила не называть ее по отчеству. Складка между бровями стала глубже, а крутой надменный подбородок тронуло недоумение: что же я, забыл, что ли. . . Приподняв голову, она посмотрела сбоку, из-под ресниц: уж не хочу ли, чтобы попросила о том же еще раз — терпеть не могла жеманства.

— Женья! — поправился я как можно деловитее, и она кивнула удовлетворенно. — Конечно, можно. Вот только Невская просила меня зачем-то зайти. Займет это не больше десяти минут. . . — И тут же увидел, что она как будто огорчилась этой отсрочкой — была возбуждена или просто запыхалась, бегая по лестницам, только уж два раза поднесла руку к горлу, как бы утишая прерывистое дыхание. — Если очень спешно, пойдете прямо сейчас. Невскую можно перенести на-после.

— Нет, это хорошо — через десять минут! — сказала она и посмотрела на крупные (из карманных) часы в кожаном грубом браслете, надетом поверх рукава. Эти громоздкие часы рядом с узким запястьем и маленькими пальцами с кое-как под самую мякоть обстриженными ногтями — опять сообщали ей что-то нарочно, по-детски серьезное, что составляло одну из милых ее особенностей. — Вы читали статью Чистякова? Впрочем, об этом после. . . В общем — в пять ноль-ноль! Я подойду к вам у выхода. . . — Эти три-четыре последних слова говорила она, уже уходя, а я поворачивался на каблуках, следя, как она уходила, куда не проглотил ее у меня лестнич-

ный провал. А когда проглотил, не удержался: подойдя к перилам, заглянул вниз, на нижний ярус, где она должна была пройти. И действительно, тотчас мелькнуло в пролете голубое плечо и стриженная схваченная на затылке гребенкой грядка русых волос. Как много повывдумывали пословиц насчет платья, которое будто бы «делает людей». Даже у Горького есть что-то о том, что хороший-де костюм «украшает человека», дурной — «искажает его». А этот голубой многожды штопаный на локтях и манжетах свитер, обрыжевшая по швам коричневая юбка, обтянувшая девичью выпуклость бедра, — нет, они ничего не искажают, — напротив, становится ясно, что Жене никаких подчеркиваний, ничего украшающего к тому, что она есть, не требуется. . .

И я тоже измазал ладонь о беленые парила — о то место, где полминуты назад лежал Женин желтый букетик. Уперевшись в них, все сторожил глазами сводчатые внизу пролеты. Только потом догадался обернуться — посмотреть, не следит ли кто-нибудь за этой неуместной в мои годы романтикой. Увы! было кому следить: по коридору шагал Чистяков — аспирант кафедры русского языка, невысокий, квадратный, с мелкой по сравнению с размахом плеч головой и складчатым лбом, — шагал и улыбался, злодей: видел! Должен сказать, что он и в самом деле несет в моей повести две злодейских нагрузки: злодей академический, как видно будет дальше, он же и злодей романтический, ибо всюду и неизменно — на кафедре и у вешалки, на вечерах самодеятельности и комсомольских собраниях преследовал Женю, которая признавалась мне, что боится его, как крыс. К беллетристической чести своей должен сказать, что сам я неприязни к Чистякову не чувствовал, — напротив: за его восторженность Женей прощал ему даже несомненную бездарность и, когда в кулуарах кафедры обсуждали, куда его девать, предложил пустить его по античным языкам, т. е. в учителя латыни для какого-нибудь фармацевтического техникума, — единственное употребление, на которое он годился.

Какую это «статью» мог написать Чистяков, заинтересовавшую Женю? В стенной разве газете? — Он прошагал мимо — теперь я разглядел — какой-то торжественный, сам себе улыбающийся (не до меня), чуть ли не снисходительно кинув

«привет!», я же отправился искать Невскую. До пяти оставалось всего семь минут. О чем хотела говорить со мной Женя? Идет он ей, этот военный язык: «пять ноль-ноль»? Ей все идет, что она ни говорит и как. Где найти Невскую? В эту пору дня она обычно располагалась в профессорской, проводя там свои «интервью», чаще всего — разносные. Я назвал ее за эти разносны «мать-командиршей», какой была она и по мужу — крупного чина военному (потом, в годы немецкого нашествия, вскочил он уже прямо на головокружительную высоту, но и перед войной имя его называлось с придыханием). Невскую, Музу по имени, я знал еще по институту, который мы с ней вместе кончали лет пятнадцать назад. Тоненькая, с большим лбом и острым подбородком, помню, она с недоверчивостью провинциальной комсомолочки, хоть и не враждебно, таранилась на мои галстуки. Теперь же подбородок покруглел, и изпод него, когда Муза смеялась, предательски-уютный высывался второй, глаза же смотрели покровительственно.

В профессорской Музы не было, и вообще не было никого. В широченное окно уныло серело напротив слепое здание архива — вместо окон были длинные узкие впадины. Их суматошно, толкая друг друга крыльями, как люди — локтями, пробиваясь в трамвай, штурмовали галки, каркая хором, и часовой у ворот бдительно и тревожно задирает кверху голову.

Музы не было, но на курительном столике перед топким кожаным креслом раздувался желтый портфель со знакомой монограммой, и я и двух раз не поглядел на часы (до пяти всего четыре минуты!), как Муза, вместе с запахом «магнолии», вплыла в учительскую и — в кресло.

— Ну, слышал ты о Чистякове? — спросила она прищурившись.

(Опять о Чистякове!) — Видел его только что, как ваксой начищенного. Орден, надеюсь, не дали ему за ученые заслуги?

— Муза щелкнула замочком портфеля и вытащила газету с жирно обведенными красным тремя колонками:

— Вот!

Это была «Педагогическая газета».

«Кто он, этот ученый?» — прочел я заголовок, а ниже подпись: Чистяков.

— Ну, кто же он, этот ученый? — повторил я, пробегая по строчкам. — Нет, не может быть! Теперь уж и Радов попадает под обстрел!

— Да, да, — Радов! — качнула головой Муза и раскрыла серебряный портсигарчик с тоненькими, как соломинка, папиросками. — Хочешь?

— Постой: Владимир Владимирович Радов, крупнейший ученый, и о нем — Чистяков! Ведь это, по меньшей мере, нелепо!

Она выпустила дымок и сказала снисходительно:

— Не думаешь ли ты, что Чистяков действует по своей инициативе?

— Гм...

— Этим вопросом занят сейчас профессор Лованько.

— Гм... (Лованько был парторгом и заведывал кафедрой).

— То-то и «гм». Ты сядь...

— Прости, Муза, милая, у меня срочное заседание.

— Да? — она недовольно выдвинула нижнюю, осторожно подкрашенную губку.

— Тогда только минуту... Где-то я записывала... Вот, нашла! До сих пор нет твоих сообразительств.

— У меня с собой. Давно приготовил.

Она развернула, посмотрела все три пункта,отреагировав на каждый все той же оживленной губой. На пункте первом, в котором перечислялось то, что собственно должен был я делать и без всякого соревнования, губа пренебрежительно выпятилась. Пункт второй — о том, что обязуюсь в семинаре обеспечить столько-то процентов отличных студенческих рефератов, заставил губку успокоенно податься назад, а на третьем, в котором обещал сдать к 1 мая небольшую работку в «Ученые записки» (давно уже лежавшую в письменном моем столе без употребления), губка поджалась совсем удовлетворенно и значительно. Муза сложила «обязательства» и снова прищурилась на меня смеющимися глазами (нет, она не была у нас никакой «парт-тетей Мотей» и даже обладала чувством юмора!).

— Еще секунда: правда ли, что ты сказал однажды студентам, что если кто-нибудь не понял чего на лекции, то может не приходить и на консультации — все равно не поймет и там?

— Муза, что-то в этом роде я, кажется, говорил. Плохой пе-

дагог, понимаешь... Но сейчас у меня, честное слово, ни секунды времени...

— Ну-ну! — покачала она головой. — Ладно, перенесем этот вопрос на следующий раз. Всего...

* *
 *

Этакая саврасовская «Грачи прилетели» была пора весны, только перенесенная в город, в Москву, и без снега, который выскребли, вывезли и самый след присыпали золой и песком. — Стоял сухой морозец, и воздух был льдист, ломался и словно похрустывал во рту. У выхода Жени не было. Я прошел вдоль главного корпуса, завернул за полукруглый край, к парадному подъезду. Здесь задуло ветром, и я стал в нишу. Ветер был пронзительный, с Москвы-реки: ветлы перед слепым архивом (второй раз торчат у меня перед глазами сегодня!) ворошились ветками, и все те же галки с незрячих окон падали на эти ветки, раскачивались и, отчаянно каркая, не в силах утвердиться, выхлопывали крыльями, как мотоцикл... Помню, в ту пору я собирался вскоре уехать на год-два из Москвы в Рязань, или во всяком случае наезжать туда для работы, и поэтому особенно живо вбирал в себя напоследок все, даже самые мелкие, впечатления Москвы. Вот и эти галочки неуклюжие крылья в слепых глазницах бетонной стены и на голых, по-весеннему глянцевых, ветках, и бесснежный морозец, и ветер с Воробьевых гор — все запоминалось!

У меня уже растекалась по плечам та вязущая, как клей, неловкость, которая является от ожидания на холоде и — на людях (несколько шумных студенческих стаяк просыпало мимо и, хоть кажется, заняты по уши своим, — а ведь всё замечают!), как в двери за спиной повернулся ключ и из открывшейся щели дунуло теплом и гулом голосов. Странно: я знал, что дверь эта — только для университетской администрации и гостей, но знал и то, что вышла из нее — Женья.

— Простите, задержалась! — сказала она виновато, тронув меня за рукав. — Была в деканате. У меня сегодня... Но нет, идемте, я дорбогой... — Двумя крохотными варежками поправила она серый берет, тряхнула головой и, спрыгнув со ступеньки, раскатилась на тротуаре по ледяному языку, с кото-

рого, верно, такие же неугомонные ноги стерли иней и дворницкую посыпку. — Идемте!

Нет, и эта толстая, слишком мужская для нее, куртка не портила ее фигуры, — да она и не застегивала верхних пуговиц, так что свободно голубели и двигались между распахнутыми бортами плечи и грудь. Она почувствовала, что смотрю на нее, и, повернувшись на низких каблучках, подождала, пока с ней поравняюсь.

— Сдала сегодня «хвост» по фольклору. Вот и хочется резвиться. А так, вообще, нисколько не весело. Вы знаете, о чем я хотела с вами разговаривать? Я вас провожу.

— Вероятно, о Чистякове. Мне...

— Читали его статью? — перебила она. — Не правда ли, возмутительно?

— Не читал еще. Но поговорить об этом до дома моего нехватит времени. Лучше давайте походим немного.

— Я очень зла на него. Ведь это... — она опять скользнула по очередной ледяной прогалинке и почти упала, чиркнув по тротуару обтрепанным портфеликом, но ловко, как на катке, сбалансировала руками. — Мне к полшестому в Музей Ленина... Радов — крупнейший наш специалист по современному языку! Наша гордость!

— Я вас провожу до музея. Пойдемте по мостовой, там не скользко, и нет искушения сломать себе ногу.

— И какие глупые выдвигает обвинения! — продолжала Женя, не заметив этой перемены в том, кто кого провожает (нет, заметила: по подбородку пролегла и мгновенно растаяла какая-то горделиво-удовлетворенная тень). — Я вам дам газету. В метро. Представьте, первый чистяковский тезис: Радов будто бы у н и ж а е т наш национальный язык тем, что отмечает влияние на него французского, через салонные стили карамзинской эпохи. Второе: — она сняла варежку с левой руки и загнула близко перед моими глазами два пальца на маленькую ладонь, — он приводит якобы безответственные по подбору примеры в своей «Грамматике», «беспринципные» — пишет Чистяков. Например, на суффикс «К»: с т у д е н т - к - а и рядом: и н т е р в е н т - к - а. Ну разве не ерунда? Третье: он, Радов, будто бы...

Она продолжала, горячась, задевая меня на ходу то локтем, то плечом, и совсем рядом со мной виднелась ее розовая, заметно выпуклее обычного, скула (она была полутатарка, Же-

ня), и за скулой вскидывались и падали ресницы; а я слушал и не слушал, испытывая то неловкое и вместе насладительное состояние, когда ощущаешь говорящего с тобой не пятью, а будто шестью чувствами, и шестое перебивает все и становится самым главным, то есть самым главным и радостным становится, что этот кто-то рядом с тобой и к тебе обращается, а содержание слов неважно. . .

Были часы «пик», и в дверь павильона метро на Крымской площади втекала пестрая торопящаяся людская струя. С ней потекли и мы с Женей по длинному в молочном кафеле коридору. Шли, притиснутые плечо к плечу, молча, и не знаю, мелькнуло ли у Жени, а у меня вдруг загорячело во-всю взбодраженное и счастливое чувство первой связанности двоих друг с другом. Еще ни в чем не выраженной, вполне, так сказать, неконституционной, может быть, на минуту только и явившейся, но — связанности. Я смотрел на щеку с пунцовой скулой, горячую, верно, если дотронуться, и вспоминал наше первое знакомство. Тогда были тоже эти же вот горячие щеки, но до «я провожу вас, Женя» — было далеко: «тогда» — было год тому назад. То есть я знал Женю и раньше: ее нельзя было не выделить из других. — Не по красоте: она, собственно, не так уж была и красива, но по какой-то особой притягательности, скрытой в ее движениях, в голосе, когда она говорила. — Голос у нее был из тех, за какие хватаются радиостудии: контрольный, вибрирующей полноты (я слышал раз, как она объявляла номера на вечере самодеятельности). Еще был в ней тот сплав силы, женственности и свежести телесной и душевной, который так нередок у наших девушек, но который у нее был какой-то особенно обаятельной концентрации. Словом, я помнил ее еще второкурсницей. Встречал и на заседаниях кафедры, где бывала она в качестве члена комсомольского бюро факультета. А в прошлом году, после одного заседания, она ко мне подошла. На заседании этом я высказался, помнится, в защиту студентов, удрученных устроенным им каким-то необычайно сложным диктантом. Диктант, по-моему, содержал много трудностей, которые и учителей загнали бы в тупик. Защита неожиданно удалась, а потом, в коридоре, и мелькнули передо мной раскаленные скулы, и Женин голос сказал: «Вот спасибо! Очень хорошо выступили!» А потом. . .

— потом росло и складывалось у нас обоих чувство осторожной и несколько странной при разности лет дружбы и желания прятать ее от других и почти — от себя. Затем у меня это чувство приняло форму... — ах, несчастный книжный язык! — потеряло всякую форму, превратившись в нечто бесформенное, отчаянное иногда, как «караул». А у Жени — не знаю. То есть раньше не знал. Теперь, когда бежали, касаясь друг друга плечом, в борзом людском потоке по молочному туннелю станции «Парк культуры», — мне казалось, что знаю...

В вагоне метро толкучка заслонила сверканье стекла и полировку, о которых принято говорить, живописуя нашу подземку, и нас с Женей так вдавило в краснокожий пружинный угол, что она едва смогла вытянуть и расправить на чьей-то спине четвертушку все той же «Педагогической газеты».

— Да я в общем смотрел уже, — сказал я. Не очень уверенно, так как это было преувеличение, — но как не хотелось эти семь минут до Охотного ряда тратить на глупую статью. «Сойдемте у Ленинской» — предложил я, и Женя кивнула, опять как будто не заметив и приняв как само собой разумеющееся, что мне хотелось пройти от Моховой пешком, чтобы побыть вместе подольше. Кивнула, но газеты не спрятала, — напротив, когда спина, служившая подставкой, отделилась и вылезла у «Дворца Советов» (самой красивой на мой вкус по простоте станции с белыми, похожими на сталактиты колоннами, освещенными за капителями), стала держать сама перед моим носом статью одной рукой, а другой водила пальцем по особо важным абзацам. Абзацы были отчеркнуты лиловыми чернилами, и в таких же чернилах вымазан был с внутренней стороны Женин палец с обкусанным ноготком, и я ползал за ним глазами по строчкам, не вполне улавливая содержание: опять было мне безвольно-хорошо, оттого что это был ее палец и что она сидела рядом. «Ленинскую библиотеку» мы проехали...

Есть еще много москвичей-«консерваторов», которые и поныне пытаются отыскивать в Москве, когда надо поговорить вдвоем, тихие уголки вроде какой-нибудь Собачьей площадки или наименее культурных аллей «Парка культуры» вроде

Нескучного сада. Я давно уже, шагая в ногу с индустриальным строительством, установил, что самое подходящее место для таких рандеву — станция метро в часы «пик». Там мы и просидели оставшиеся у Жени двенадцать минут — на красно-бурой мраморной скамейке, спустившись в красно-бурый же котлован смежного с «Охотным рядом» вокзала. По обе стороны сплывали на нас тысячеликим оползнем прижатые одна к другой головы; сплыв, выпрыскивались из лестничного рас-труба, как из пульверизатора, обретая туловища, стремительно бежали вправо-влево, в арки-воротца, к перронам. Пролетали мимо нас опрометью, не видя. С глухим туннельным ворчанием подходили поезда, визжали тормозами, шипели пневматическими дверьми; скрежетнув моторами, убегали дальше. Разом, как в реву или в мейерхольдовском «Ревизоре» в сцене взятки, — изо всех арок-проходов впрыгивали в вестибюль приехавшие, кидались к эскалаторам, снова прессовались, теперь уж затылками, и уплывали вверх. И все эти фигуры — туда и обратно — глядели на нас, как в ничто, не замечая, — мы были одни. А может быть (да, конечно, очень может быть) не замечали их мы, но не все ли это равно в данном случае?

Через двенадцать минут разговор был окончен. После очередного Жениного: «Ну, пошли!» я уже стоял, прислонившись к мраморной стенке, а сама Женя почему-то еще сидела, закинув ногу на ногу, с раскрытой на коленях книжкой, свисавшей вниз из руки. Книжка эта была учебник Лованько, в котором Женя отыскивала тоже «антинациональные» утверждения о влиянии на русский литературный язык французского синтаксиса. «Вот видите: у самого Лованько! А Чистяков... В общем, надо ему возразить. Как следует. Это несправедливо. Мне очень жаль Радова». — «Очень жаль Радова... Надо возразить» — и было существом нашего разговора. А итогом было то, что я согласился, по желанию Жени, выступить против Чистякова и «в защиту науки» — на предполагаемом академическом совещании («О нем говорю вам совершенно конфиденциально, но, вероятно, на днях все равно будет объявлено», — сказала строго Женя). Что ж, я был учеником Радова, очень ему предан и привести несколько самоочевидных истин в опровержение чистяковских домьслов ничего мне не стоило. К тому же, если устраивалось совещание, то, будь оно даже только инсценировкой, кто-то должен же говорить против, хотя бы

для видимости... Словом, разговор был окончен, и его академическая часть не интересовала меня больше. Я смотрел на Женю — она теперь чуть покачивала ногой в плотном сером чулке с небольшой, в горошину, розовой дырочкой над щиколоткой, — и соображал смятенно: на кого она сейчас похожа, в этой вот позе и с книжкой на коленке? Где я видел ее такой? Когда? — Вопрос потому, вероятно, и привязался, что им преодолевалось смятение: я вдруг почувствовал, что это наше подземное с Женей свидание не может одним только деловым разговором и кончиться. «Судьбоносное», как любят говорить авторы газетных передовиц, продолжение непременно должно было последовать, но вот задерживалось. И что Женя после своего «Ну, пошли!» продолжает сидеть на скамье, значило, что и она тоже ощущала неловкость. Я посмотрел искоса: нога в сером чулке продолжала покачиваться, а лицо отвернулось — виден самый краешек разгоревшейся скулы и подхватывающая русую гривку гребенка с крохотным блестящим камешком. Молчим!.. От напряженности этого молчания стали вдруг необыкновенно отчетливо слышны гулы в обоих туннелях. Вот пришел поезд слева. Ба, сколько вылезло народу! — целый полк! сыплут мимо и нет им конца... «Га-атов!» Зашипели двери. Тронулся! И справа, кажется, натекает гул... И вдруг:

— Я давно хотела спросить: вы — что, надолго собираетесь в Рязань? В нашем институте совсем оставите работу? — И поднялась. Должно быть потому, что так легче ей было сохранить непринужденность. — Слишком подчеркнутую для обычной Жениной простоты: вот как небрежно смотрит мимо меня, на грядку убегающих вверх между текучими лестницами фонарей, а скулы пылают, и подбородок совсем отчаянной налился независимостью. Впрочем, если бы кто сфотографировал тогда мою физиономию, он бы и в ней не нашел каменного спокойствия, даром, что мне полагалось быть выдержаннее Жени на пятнадцать лет. — Я понимал, что значит Женин вопрос — после этой паузы, покачивающейся ноги и горячих щек. Охотнее всего я обнял бы ее, милую, рядом, но для этого «тихий уголок» метро не годился никак. Да и за Жениным вопросом, знал я, пряталось с дюжину других, на которые одна только ласка не могла бы ответить. Например: все в институте знали, что я женат, что мне не удалась женатая жизнь, что жили мы с женой на разных квартирах, но что разведены не

были. Встречаясь, мы теперь наперебой уступали друг другу, раз навсегда убедившись, что эта уступчивость нас ни к чему не обязывает; развод же по множеству бытовых соображений откладывался до «пока». Это «пока» нами не выговаривалось, но означало некую решительную перемену в судьбе кого-либо из нас. В последнее время я знал, что такое «пока» уже приблизилось к биографии моей жены. Для меня же оно было или отъездом, или . . . Где могло быть мое «пока»? Не оно ли вот только что сидело на мраморной скамейке, покачивая ногой в сером чулке, а сейчас стояло с горячими скулами, рядом, совсем близко, и с каждой секундой будто приближаясь все ближе и становясь чем ближе, тем невероятнее? Вот оно, моё «пока», выбитое из равновесия немислимо затянувшейся паузой, встревоженно и самолюбиво сдвинуло брови над переносьем. — Сохраню ли я работу в Москве? — Думая об этом, я неизменно отвечал себе, что сохраню непременно, если Женю не отправят в какую-нибудь Тмурокань, а оставят, например, аспиранткой при институте . . .

— А как ваши шансы на аспирантуру? — спросил я, и она, полуобернувшись, посмотрела мне прямо в глаза, настороженная этим вопросом на вопрос. Помню, весь коротенький разговор так и продолжался: глаза в глаза, так что скупые слова взапуски обгонялись невыговоренными, звучащими про себя.

— Так-на-так! за и против приблизительно одинаковы.

— А когда ж окончательный ответ?

— Перед распределительной комиссией.

— А когда комиссия?

— Говорят, в середине мая. К этому времени все выяснится . . .

— Вот тогда и у меня выяснится, расстанусь ли я с Институтом или буду приезжать . . .

Окончила это объяснение тоже пауза, совсем короткая на этот раз; помню, как помягчел Женин подбородок и напряженный лоб, а потом она сунула в рыжий портфельчик книгу Лованько и сказала, пряча от меня глаза: «Теперь уж побегу!»

У обитой медью гребенки, из-под которой вытекала лестница, я взял ее под руку и вместе сделали шаг. Потом лестница под ногами стала члениться, образуя ступени, и Женя осталась на одной, а я очутился выше, только немного касаясь ее локтем. Вдруг она придвинулась ко мне плотнее, мне показалось, что надменный подбородок прижался на секунду к моему рукаву,

и я перестал на какое-то время чувствовать движение лестницы: оно остановилось, и только молочные шары ламп, продолжали сплывать на меня сверху, яркие, растекшиеся, чуть что не задевая за щеку. Но тут же лестницу стало ровнять. Женино лицо подросло к моему, улыбнулось не глядя, и вот она уже шагнула на медную неподвижную грань, под которую уползала рубчатая лента. Толчок! — Пол... Я едва догнал ее у выхода. «Я вас найду в институте... Пока!» — сказала Женя, махнув маленькой варежкой, и нырнула в четырехлопастную выходную вертушку...

Вот и потом, и теперь я не совсем могу объяснить себе эту сдержанность, скупословность нашего тогдашнего свидания, для которого задним числом находил столько слов. Не знаю: в словах, в целом фейерверке нежных слов я тогда чувствовал прямо-таки голодную потребность. И позже, когда впервые, в майский один рассвет, стал записывать эту сентиментальную повесть. И — когда вернулся без надобности в красно-бурое подzemелье, чтобы увидеть еще раз скамейку. Потом прошел в ближайшую арку, ведущую на перрон, и остановился, очень может быть, что и мешая всем. Стоял — как только что с Женей, в многолюдстве один, и во внешний мир включено было, верно, только одно чувство: слух, который ловил закипающий в туннеле грохот. Не знаю, может быть, я и улыбался даже! А когда включилось зрение, увидел прямо перед глазами серую, выпуклую ногу в тяжелом башмаке, выше — колено и раскрытую книгу. — Я забыл сказать, что выходные на перрон арки этой станции были украшены большими, в рост, бронзовыми скульптурами — крестьянин, рабочий, воин... — Бог с ними! Но скульптура, перед которой оказался я, изображала девушку, сидящую нога на ногу, за книжкой. Я едва дух перевел от изумления: так вот, с кем припоминал я сходство пять минут тому назад, глядя на Женю! Конечно же, я много раз видел эту бронзовую девушку — их было четыре здесь, потому что мотивы повторялись. Конечно, она была до изумления похожа на Женю, а Женя на нее: те же чуть крупные скулы, надменный подбородок, та же фигура, постав головы и — странно: та же «магнитная аномалия» притягательности. В чем она? Эта, бронзовая, с лицом грубоватым, застылым, уж вовсе не была красавицей. Тело везде скрыто одеждой, сов-

сем скупое декольте, и грудь — без этого обычного, назойливого, как плохая рифма, подчеркивания девичьих округлостей и сосков под тканью. Где нашел, в чем нашел, как сумел расказать ее обаяние скульптор? . .

Я пропустил свой поезд, а потом, под наплывающий рокот следующего, наговорил каменной Жене целый ворох самых ласковых слов, которых не сказал (никогда не сказал!) Жене настоящей . . .

2.

Я ничего не понимаю в архитектуре. Пробовал заполнять этот пробел: рассматривал толстые фолианты с иллюстрациями и читал критиков-специалистов; в памяти осталось несколько соборов и с полдюжины цитат, которыми никогда не воспользовался по той же причине, по которой не носят чужих галстуков, если нет своего . . .

В Москве — две Ленинских библиотеки: новая, огромно-серая, с барельефной галереей по portalу, замыкаемой Маяковским и Шота Руставели, и — старая, она же Румянцевская, она же — дом Пашкова. Дом стоит на холме, с которого сняли теперь решетку. Без решетки стало, по-моему, лучше, как прекрасному лицу без вуали. Холм дышит теперь («дышит» и буквально, потому что сюда вывели вентиляционное окно для легких расположенной внизу станции). Я ничего не понимаю в архитектуре, но был влюблен в эту архитектурную красавицу на зеленом пьедестале, перед которой новое здание, хоть и по последнему слову техники, просто — гигантский солдат в будке. Такой, представляется мне, в революционные праздники рычит в эфир на особом парадном диалекте «под вождя»: Салдаты и а-афицеры. . . Париветствую и п а-зда-равляю вас. . . и так далее.

Дней десять после разговора в метро я и оказался в Старой Ленинской. Случайно: в трудовом моем конвейере того дня выпало два часа — не помню теперь, каких, где, почему, — и потянуло вдруг в эту умную тишину, с непередаваемым запахом старой книги, приглушенным шопотом за стойками и ше-

лестом переворачиваемых страниц. Потянуло — как на свиданье. Не знаю, признавался ли тогда сам себе, что я и чаял свиданья: неделю не видел Женю и знал, что ей на днях сдавать «восемнадцатый век» и что, значит, она может быть там. Был впрочем и деловой повод: библиографическая справка, нужная мне для завершения трактата в защиту Радова. Неделю тому назад состоялось заседание кафедры. Председательствовавший Лованько «заострил» и поставил на обсуждение «поднятый в нашей прессе товарищем Чистяковым вопрос о научных трудах профессора Радова». Сам Чистяков сидел рядом с Лованько, напряженный, как опухоль, с невозможным количеством плотных складок на лбу и ужатыми в яминку губами — это должно было означать высокое чувство ответственности. С таким же точно выражением значительности, делавшим его лицо глупее обычного, он, перед кафедрой, теряя меня за рукав, объяснял, что, конечно, знает, что я, как ученик Радова, вероятно со статьей не согласен, но что знает также, что я настоящий советский ученый и педагог и потому понимаю важность передовой и откровенной критики, направленной на... — и так далее в том же вкусе.

Когда Лованько кончил, Чистяков еще гуще покрылся складками, высматривая по сторонам, не будет ли возражений. — Мы переглянулись с Женей, и она, нагнувшись над раскрытым портфельчиком, спрятала туда усмешку. После нудной паузы Лованьке возразил неожиданно фольклорист Грушинский — сгорбленный, в академической ермолке, жидкобородый, похожий на Василия Шуйского. — Возразил так осторожно, словно через реку перебирался в ледоход, и сама осторожность эта как бы подтверждала обвинение. — Я сразу заподозрил, что выступить ему приказали сами организаторы. «Видите, какая демократия! — шепнул мне справа доцент Беленький, всегда иронический, любивший небезопасную шутку, — сразу и оппонент налицо»...

«Что же это за возражения? — Смешно!» — прислала мне записку Женя, и я подтвердил, что смешно, и в ответе приписал, что обязательно хочу проводить ее до общежития. Совсем не слышал, что говорил Лованько: следил, как читала она записку, а прочитав, кивнула и, наклонясь снова, стала защелкивать заржавевший, вероятно, замочек. А Лованько, оказывается, сообщил, что на конец апреля назначается расширен-

ное заседание кафедры по радовскому вопросу с приглашением академиков — то, о котором мне говорила Женя.

Побить же вдвоем нам не удалось: «Женя, — крикнула через стол Невская, когда закончилась кафедра, — задержись на полчаса! Я тебя потом подвезу на машине»... — и я скрепя сердце ушел один.

Эта раздевалка с разбухшими вешалками и ожиданием, «когда освободится номерок», мраморная лестница со статуями, контрольная женщина у дверей — обыкновенная, как трамвайный кондуктор, но в какую величественную тишину охраняющая вход, — сколько же лет, начиная с самой безусой молодости, все это знакомо! И так же взбежал сейчас через две ступеньки на хоры, чтобы оттуда, перегнувшись через перила, заглянуть в читальный зал.

Уже зажгли лампы, и из-под непрозрачных абажурных овалов тек щедрый оранжевый свет на спины, плечи и головы, курчавые и в плешинах, в проборах и бобриком, руки, блестящие вечными перьями и карандашными набалдашниками, причудливо рассыпанную канитель бумажных — печатных, написанных и чистых — листов и листочков, убегающую сверкающей строчкой через весь зал. Нет, Жени я не увидел и пошел в курительную. Вот и эта, без мебели почти, с тяжелой чугунной дверью курительная, где бойкий вентилятор взвизгивает от бессилия выдернуть наружу из-под потолка сизые простыни дыма, — сколько встреч и тем здесь пережито и переговорено! Как всегда, три-четыре фигуры бродят в дыму взад-вперед по всем возможным диагоналям. Как всегда, в уголке, одна против другой, как трилистник, захлебываясь дымом и новостями, цветут три литературных барышни. Когда я закурил подле них, они попримолкли, потом заговорили снова, и я слышал: «...институт имени ...-нского... Радов...» Потом та, что стояла лицом ко мне, с мужским бантиком-бабочкой под острым подбородком, вдруг пошептала с остальными и исчезла. Когда же я тушил папиросу о подоконник, — в курительную вошла Лиля Шапиро, заведующая справочным отделом библиотеки.

— А мне уже сообщили, что вы в курилке! — сказала она (значит, литературная барышня с бантиком знала меня в лицо — скажи пожалуйста! впрочем — они знают всех), — и я ре-

шила перехватить вас здесь. Расспросить: что это у вас там делается?

Мы с Лилей были дружны в юности: вместе, как и с Невской, кончали институт; в агатовых ее невеселых глазах светилось сейчас, как и всегда, подкупающее участие, и я с удовольствием встал ей навстречу.

— Вы это — про чистяковскую историю?

— Ну да, о Радове. Об этом все говорят . . .

Я рассказал ей, что знал и что она, по всей вероятности, знала и сама превосходно. Даже, может быть, и лучше меня: по службе встречалась со многими «высокими и именитыми», кто только снисходил до посещения библиотеки, вместо того, чтобы требовать книги на дом.

— Не везет Радову! — вздохнула Лилия. — Человек уж отбыл три года на севере, а теперь . . . Говорят, его никуда не решаются пригласить, и он читает в каком-то институте для дефективных или немых. Правда? Наверное, и живет даже в Москве без прописки. Когда это совещание, вы говорите? Уже послезавтра? Постараюсь придти. А сейчас занята ужасно. До свиданья. Рада была . . . Сами вы, наверное, и не заглянули бы ко мне?

— Обязательно заглянул бы. — Видите? — я показал Лиле карточку со своей темой. — Справка нужна. Но и не только ради справки, конечно . . .

— Не думаете ли вы выступить на совещании? — сразу догадалась она, прочитав, и в уголках глаз, мне показалось, проглянуло беспокойство.

— Думаю, а что?

— Стоит ли? Ведь в таких случаях защита никакого значения не имеет. Да и нужна ли она Радову, ученому такого масштаба? Тут и без вас . . . Я хочу сказать, что важны здесь только аргументы обвинения и откуда идет. Так я думаю.

— Вот и расскажите подробнее, что вы думаете и что слышно в кулуарах?

— В кулуарах почти все из «значительных», с кем разговаривала, — на стороне Радова. И вообще мне кажется, — она понизила голос, — ему эта история особенно не угрожает. Ему не то, что приписать что-нибудь хотят, а . . . как бы это сказать, — Лилия с силой сжала в кулачок худые пальцы, — переломить, что ли, вышибить из аполитичности. Он слишком человек науки. Но вот неизвестно: сам Лованько все это ре-

шил провернуть, или по указанию, и — с насколько высокого верха? Вам, если хотите выступить, это особенно важно знать. Я бы впрочем, на вашем месте, не выступала бы . . . Бесполезно и только повредит.

— Ничего! Бог не выдаст . . .

— Смотрите . . . Справку можете получить через четверть часа, вместо двух. По благу!

«Ничего!» — как легко отмахнулся я тот раз от мудрого Лилиного совета! И как скоро уже припомнился мне этот разговор! . . .

Четверть часа ушло на критика-фетоведа, встретившегося на хорах. И критик и Фет были сильно не в моде, и я ужаснулся той «потушенности», которая сгибала теперь этого седого, с дурным дыханием, человека: помнил его в блеске внешности и славы. Протаскав меня раз двадцать туда и обратно по коридору, он сообщил полушепотом, оглядываясь, как заговорщик, что нашел одну «несомненно актуальную» тему для исследования: историю вражды Тургенева с Достоевским, над которой он уже и принялся работать. Я не хотел огорчать его сомнением в актуальности Достоевского и пожелал ему успеха. На прощанье — не с ним: он уже спускался, горбясь, по лестнице, — а с Ленинской, — заглянул опять вниз, на абажуры, и увидел Женю. Она, вероятно, меняла или получала книги и только что сию минуту пришла: я не мог не заметить ее раньше. Сидела она совсем близко от входа, чуть ли не за тем столом, на котором стояла табличка: «Здесь в таком-то году работал Владимир Ильич Ленин», — не знаю, не видно было сейчас таблички. А Женю было видно отчетливо, хоть и загораживал ее чей-то мощный соседний торс. Светился мраморно лоб и русый зачес волос с коротким пробором-дорожкой, убегавшим под гребенку. Странно: не замечал прежде пробора. Очень тесно и все места заняты! Со стула слева вышли! Как на зло, нужно уже уезжать — самое большее пять минут остается . . .

Краснолицый дядя, против Жени, с орденом «Знак почета» на мятом лацкане пиджака, покосился подозрительно, когда я осторожно пролез на свободный рядом с Женей стул. Перед моими глазами лежала раскрытая книга в обтершейся коже по углам, с курчавым шрифтом и желтой сыпью тления по

страницам, кажется — «Трудолюбивая пчела» Сумарокова. На разгибе — Женина рука, кажущаяся еще меньше от наплывавшего на кисть голубого вязаного рукава с большим кожаным браслетом часов, переделанных из карманных. Рука очень занята: одновременно придерживает тугой разгиб и место, до которого прочитано. Другая рука быстро-быстро вписывает что-то в клеенчатую тетрадь. Профиль с напряженной прядкой брови — средоточие работы обеих маленьких рук.

Профиль подтвердел чуть-чуть, и пальцы передо мной стронули книгу вправо: Женя почувствовала, что на нее смотрят. А я молчал, хотя и видел, что краснолицего это почему-то тревожит, — я хотел, чтобы Женя обернулась.

Она обернулась. — У меня завтра восемнадцатый век, — сказала она шопотом, после той горячей паузы, когда встречаются взгляды, которую не припоминаю, чтобы не увеличивать и без того сентиментального колорита повести, — восемнадцатый век, и я очень волнуюсь!

— Х-гм! — кашлянул краснолицый.

— Выйдем на минуточку! — предложил я. — Женя покрутила нерешительно карандаш. Потом перевернула в клеенчатой тетрадке страницу, написала быстро, пододвинув тетрадь ко мне:

«Мне еще только полчаса. Хотите — пойдемте вместе домой?»

— Да вот надо уезжать. — Лекция!

— Тогда — до послезавтра. Как ваше выступление? Готово?

— Почти.

— Очень жаль Радова. Непременно, непременно надо сказать «за»...

— Х-гм! Х-гм!

— Пойдемте, я спрошу книгу заказанную, — шепнула Женя, поднявшись.

Мы прошли к правой кафедре. Книги не было — старушка в синей спецовке отрицательно покачала головой над Жениным номером. Было неуютно стоять около стойки на виду — мы отошли в сторону...

— Кому вы сдаете завтра?

— Дудзию. Но будет, говорят, Лованько. Чистяков угрожал прийти.

— Это зачем?

— Актив. От аспирантуры. Кстати: после последней кафедры, когда мы с вами, помните, обменялись записками, он ходит за мной по пятам и порет всякую чушь. Видели: и сейчас он — за моим столом, несколько стульев дальше к окнам . . . В общем — не стоит о нем. . . Но ужасно волнуюсь!

— Пустяки! все будет отлично!

Она снова покрутила в пальцах карандаш. Уронила. Нагнулась, и прядка волос отделилась от зачеса, упала на розовую скулу. Женя выпрямилась, подхватила прядку гребенкой, сказала нерешительно: — Вы спешите, я теперь пойду . . .

Перелистываю сейчас все эти подробности — как странички в старой записной книжке. Среди мелочей — вдруг обведенное рамкой или жирно подчеркнутое, что особенно помнишь. Уже прощаясь, я спросил:

— Слышно что-нибудь насчет вашей аспирантуры?

— Нет! То есть, да. . . То есть не такое уж важное. — Она вдруг необычно для себя смутилась и продолжала скороговоркой. — В общем: я разговаривала вчера с Невской и она сказала, что если меня не оставят, чтобы я не беспокоилась, что устроят так, чтобы не усылали далеко. . .

— Куда же?

У нее совсем пунцово вспыхнули скулы, и с досады встала над переносицей складочка.

— Ну, куда-нибудь . . . в ближние точки. . . Она сама еще не знает, где будут места. . . В общем: до свидания. Пока!

«Ближние точки». И как же сконфузилась! Медленно идя к выходу из зала, я следил за ней: вот обогнула край стола, пробираясь между стульями в приглушенном абажурами полусвете. Вот опустилась вниз, и снова в ярком световом овале мраморно забелели лоб и взмелькнувшие руки. Несколько стульев дальше — да, вот он, Чистяков! Напружил в мою сторону складки и разглядывает! «Ближние точки»! Моя Рязань — тоже «ближняя точка». Всего четыре часа езды. Да, тоже «ближняя точка» . . .

Я забыл зайти к Лиле за справкой.



Я забыл зайти к Лиле за справкой и потом долго извинялся по телефону, и Лилия по телефону же передала мне заголовки двух нужных статей. Еще одна, предпоследняя перед совеща-

нием, ночь — и мое выступление в защиту Радова было готово. Часа в три утра, подобрав по порядку листочки, черствым от курева горлом прочитал я написанное вслух, чтобы проверить время. — Вышло на двадцать минут и, кажется, вышло эффектом. Впрочем... — С этим «впрочем», помню, начался невнятный еще, как комариный звон, скепсис.

— Чем собственно достигался эффект? Цитатами, в которых доказывалось, что Радов неповинен в приписываемых ему ересях? Но кто же из приглашенных на совещание в этом сомневался? Стоило ли, хотя бы и эффектно, ломиться в открытую дверь? Нет, острие моего трактата составляли вовсе не цитаты, а обличения, разгром и чистяковской статьи и Лованько. Тут выступление било в цель. С треском. Не слишком ли с большим треском? Эти шпильки во многих местах, двести остроты — нужны они? — «Бесполезно и повредит» — сказала Лиля... Чистяков и Лованько тоже не верят в свои обвинения. Значит и здесь — открытая дверь. «Бесполезно и повредит»... Скепсис уже не звенел по-комариному, он жалил. Коварное «повредит» взмыло, как ракета, оставив хвостом за собой подлый тревожный зуд. Помню, я снова включил настольную лампу, от которой уже ломило во лбу. Закурил, перелистал листки. Да, конечно, фельетон, а не академическое выступление! — Долой это, и то вон там — тоже долой! И — все равно никуда не годится! Все равно выпирает протест вообще: против такого обращения с наукой, такой критики... Все так и поймут. И если не прикидываться бравым солдатом Швейком, то выступать по этому делу, в котором кого-то хотят «переломить», немислимо. Радову не принесет это ни малейшей пользы. Меня, мои планы, самые заветные, — пустит по ветру... Нет, категорически: выступление состояться не может и не должно! Я точас представил себе аудиторию, лица, Женины выжидающие глаза. — Не может и не должно?

— Помню, стало мне душно. Толкнул форточку — никакого воздуха! Осторожно, чтобы не разбудить Полю, прислугу, спавшую в прихожей, вышел через тамбур парадного в палисадник. Там тесно и путано кустилась сирень. На утреннем небе, как тушью, рисовались ее первые листья-сердечки и — острыми стрелками — будущие гроздья цветов. Между стрелками и сердечками тек зеленоватый весенний живительный воздух. На секунду показалось: утро вечера мудренее. Спать! — Нет, вот уж оно и тут, утро, и нисколько не делается му-

дреней... Вздохнул и спугнул какую-то птицу: выпорхнула из-под сиреневых сердечек на крышу сарая и тоже сказала взъерошенно: спа-ать!

Вернулся, поставил будильник на десять, заранее зная, что не понадобится: придет бессонница...

Странно: одни эпизоды той беспокойной поры словно бы вытатуированы в памяти. От других — нет почти ничего. От самого совещания, например, — только воспоминание о нетерпеливом, ноющем ожидании конца: чтобы вырвали из тебя, худо ли, хорошо, как вырывают зуб, — тревогу. Из впечатлений зрительных остались лица — множество в сомкнутыми губами говорящих лиц. Первое лицо, которое я увидел в субботу, перед кабинетом марксизма-ленинизма, где должно было состояться совещание, было Женино. Женя выходила из дверей кабинета с высокой стопкой каких-то брошюр — такой высокой, что она придерживала стопку подбородком. В глазах, смотревших на меня исподлобья, были радость, возбуждение, почти обожание. — Почти, потому что для этого чувства Женя была слишком самостоятельна. Но было ясно: она горда сейчас нашей дружбой и тем, чего ждет от меня... Сильнее всего на свете хотел я (и в бессонницах своих все придумывал — как?) не обмануть в этот вечер ее ожидания: еще до совещания рассказать ей о сомнениях. Но задержать ее теперь, с книгами, нельзя было, да и народ подходил. «Вы до начала освободитесь?» — спросил я ее вполголоса. Она чуть подкинула стопку на руках: «Вот видите! и еще две таких успеть надо». И тихо: «Поговорим после вашего выступления. Я подожду вас»... И побежала со своей стопкой. Да, для нее все совещание в какой-то степени было прежде всего — мое выступление...

В кабинет уже входили, рассаживались. Коридор все наполнялся и наполнялся с лестницы. Промаршировал мимо Чистяков и, хоть всегда подходил к рукопожатию, сейчас только продохнул через складку губ «Привет!». Также ждет моего выступления. Ясно! Но чтобы это было ясно и читателю, надо рассказать о вчерашнем разговоре с Музою. — Вот она, кстати, «взошла», как солнышко, по парадно освещенным ступеням, а за полными ногами ее, снизу, всплыли седоватая грива и плечи Лованько. Отхожу по коридору, чтобы не пришлось заговаривать. Вчера обоих их застал в профессорской. Увидя ме-

ня, сделали вид, что ничего не обсуждали, и Лованько закричал: «А, рязанец! Неплохо придумал: кончил лекции — пошел себе рыбалить на тихую Оку. Завидую. Уживется он там, в тишине-то? Как думаешь, Муза?»

— Вряд ли... — сказала Муза, щурясь на меня неодобрительно (теперь мне показалось, что до моего появления разговаривали они именно про меня).

— А может, — усмехнулся Лованько значительно, — пособить ему как-нибудь, чтобы не скучно одному было? В общем разговаривайте, разговаривайте. Я пошел...

— Да нет, разговора у нас не намечалось, — возразил я ему вдогонку («что это за «пособить»?).

— Пожалуйста, не говори за других! — ворчливо сказала Муза. — Это даже и невежливо: у меня как раз запланирован разговор с тобой. Серьезно, Алексей Филатович. Садись вот сюда... У тебя сейчас семинар? — коротко, в двух словах: ты завтра думаешь «защищать» (она выговорила это с большим пренебрежением) Радова? Не так ли?

— Откуда ты взяла?

— Откуда бы то ни было. Думаешь или нет?

— Ну, предположим, думаю. Что тогда?

— Ничего. Дискуссия свободная, и это твое право. Я хотела только сказать, что от кафедры уже есть выступающий «за» — Крушинский... (она внимательно поискала на моем лице выражения сомнения в том, можно ли считать Крушинского чему-нибудь оппонентом, но я нарочно и бровью не повел, и она вынуждена была возразить себе сама). Да, он не блестящий оратор, и я нарочно с ним говорила, чтобы сказал победительнее и без каши во рту. Во всяком случае официальный оппонент есть.

— Ну, и...?

— Ну и второе. По-товарищески, между нами... — Она ткнула в пепельницу папиросу и взяла мою руку в свою — небольшую, цепкую, с выкрашенными белым лаком ногтями. — Почему ты думаешь, что Радова необходимо защищать?

— Как «почему»? Потому что Чистяков в статье своей порет вздор. Вот... — я вынул из кармана несколько карточек с цитатами из радовских книг и показал на подчеркнутые красным карандашом строки. — Вот места, в которых Радов говорит совершенно обратное тому, в чем его обвиняют, и...

— Это не важно! — перебила Муза. — Покажи-ка... («неважно», а как заинтересовалась моими выписками!). — Это не важно! Важно другое: ты знаешь, я тоже училась у Радова и ценю его не меньше, чем ты. Однако, если вопрос поставлен в прессе и так далее, значит об этом люди думали. Понимаешь: ду-ма-ли! Никто не собирается шельмовать Радова, как ученого, ни пришивать ему неприятных дел, но... — она пребольно сжала мою руку и продолжала сквозь зубы, вдруг покраснев: — Пойми: нельзя почти четверть века после победы советской власти писать о языке так, будто Октябрьской революции, Маркса, Энгельса, Ленина никогда не существовало. Нель-зя!! Впрочем — она ослабила пальцы, — я уверена, что ты это сам отлично понимаешь. И потому говорю по-товарищески: воздержись завтра.

— А если я все-таки? .. Опасно?

Она отпустила мою руку совсем. — Нет, просто глупо. Голову тебе, конечно, никто не откусит, но... Заметь: кафедра и парт-организация крепко тебе идут навстречу. Во многом, чего, может, и не предполагаешь («опять намек?»). И если отвернутся — очень почувствуешь. Учти.

— Учту.

— Эх, Алексей Филатыч, Алексей Филатыч! — протянула Муза баском, вставая и потягиваясь, так что шевельнулись в натянувшихся петлях пуговицы на груди. Эта присказка у многих известных мне парт-тетей и парт-дядей носила вполне целеустремленный характер: за ней следовала обычно анкета для вступления в ВКП(б), которых лежало у меня дома не меньше пяти. Сейчас однако никаких анкетных намеков Муза не предприняла.

— До завтра! — сказала она.

Вот какой был разговор!

Лованько открыл совещание, сам себе передал слово и говорил, говорил... По временам, когда обращался к аудитории с особой задумчивостью, — прочесывал пятерней седевшую свою гриву, похожую на мейерхольдовскую, но — ох, сколь не гениальное венчающую чело.

В кабинете было тесно: за столами, в центре — приглашенные, вдоль стен, на стульях, — местные, наши сплошным ба-

гетом лиц. Я уже говорил, что от того вечера запомнились мне главным образом лица: прямо передо мной, в небольшой нише напротив, бледнее обычного лицо Радова, — его загораживали головы сидевших ближе академиков Обновского и Черпы. Справа от меня, стульев через пять-шесть, — складчатый лоб и щеки Чистякова, дальше — насмешливое лицо Беленького, еще дальше, это уже подле Лованько, — строго поджатые губы Музы. Самое важное, самое значительное для меня лицо тоже пряталось за чужими головами: Женя села у самой двери, ей надо было сильно наклониться вперед или встать, чтобы мы могли встретиться глазами. Отчего-то мигало электричество в матовых лилиях большой люстры, — после бессонницы и томления духа перед совещанием миганье это действовало, как взвизг. . . Лованько, видимо, тщательно готовился к выступлению: основной упор довольно ловко сделал на партийности науки и ценности метода, оплодотворенного диалектикой. Затем похвалил академика Обновского за патриотичность изысканий о «Русской правде», а академика Мешанинова, котировавшегося в то время на бирже генеральной линии марксистом, — за новаторство. Все это, по смыслу его речи, противостояло рутинной методологии Радова. Как опытный пропагандист, свои заключения огородил он так густо рогатками авторитетов, что возражать ему, не зацепив за эти рогатки, было трудно, как при игре в бирюльки.

Лованько еще не кончил, как я уже получил записку от Чистякова и, повернув голову, встретил его лицо — складки на лбу так и ходили ходуном: он волновался. — «Будете ли вы выступать, А. Ф.? Если нет, — я тоже не буду». — стояло на выдеранном второпях из блокнота листочке. Вот как раскрывал свои карты! Я с особым удовлетворением написал на обороте: «Еще подумаю!» и пустил записку обратно по рукам.

Как и следовало ожидать, после пролога Лованько никакого «оживленного обсуждения», как пишут репортеры, не получилось, и высказывания рождались медленно и со скрипом. Сказал что-то о научных заслугах Радова академик Черпа; Обновский сухо отвел похвалы научному своему патриотизму; узкий, как спаржа, Мешанинов поскорбел о замедленности проникновения марксизма в языковедение. Слушали их с напряжением и, кажется, с разочарованием, я особенно: никто из них даже мимоходом, локотком, не коснулся расставленных Лованько рогаток — не взял под сомнение ни самого обвине-

ния, ни его тенденции. Впрочем, академикам было чего остерегаться: всего год тому назад, в этом же зале, выносились резолюции о «суровом наказании» для нескольких институтских профессоров; резолюциям тоже предшествовало «осуждение метода», и все это помнили... А я-то предполагал сперва строить свое выступление на «обличениях»! Хорош бы был!..

За академиками наступила нудная пауза, когда после вопроса «кто просит слова»? присутствующие начинают слоиться, как лудинг: одни, знающие, что от них речей не ожидается, беззастенчиво шарят глазами ораторов, сами же эти возможные ораторы — актив — с отсутствующими лицами разминают пальцами папиросы. Переглянувшись с Лованько, паузу оборвал Крушинский: выполз из кресла под желтую на высокой подставке лампу и, близоруко перебирая старческими пальцами листки, зачитал свою защиту. Сгорбленный, в черной ермолке, он под кругом абажура был похож на бактерию, разглядываемую в микроскоп. И почти сразу же, как он начал, мне стало жарко от волнения: Крушинский меня обкрадывал! Объяснюсь, если не говорил уже этого где-нибудь выше: я шел на совещание с твердой решимостью воздержаться от выступления. Решимость исчезла, как только увидел я Женино воодушевленное лицо, и я перешел, что выступлю, но только в пределах подобранных цитат. Крушинский выбивал почву из-под этого решения: то, что он читал, и были мои цитаты, — одна за другой цитаты из тех, которые я с таким упорством выискивал. Оставалось всего две, собственно — даже одна, но такая полноценная, что к ней можно было прицепить самый короткий пояснительный поводок — и выступление было бы готово. Я был почти совсем спокоен, совсем уверен, что Крушинскому не открыть ее в том печатном закоулке, где нашел ее я. И вдруг вспомнил Музу: как внимательно, почти хищно рассматривала она вчера мои заметки. Могла она... Ну, конечно же! это ведь у них — новая этика, в которую они честно верят. В данном случае это называется — вмешательством коллектива, чтобы направить, предотвратить «дружески»... А средства безразличны. В безразличии средств и новизна всего. Что поделаешь: всякая революция, затягиваясь, рождает дегенератов... Проклятие! Крушинский прочел и эту цитату, ограбив меня до нитки. Если что-либо было мне теперь ясно, так это то, что без цитат выступить мне немислимо. Импровизацией, этим единственным подлинным да-

ром речи, я не владел: все самые удачные свои лекции составлял заранее. Говорить без подготовки умел только в раздражении, но как раз оно-то и было сейчас вполне не ко двору.

Крушинский, кончив, снова сплыл в свое кресло, и мне стало ясно, что именно теперь, после него, шла очередь моего выступления. Все, кто этого выступления ожидал, уже смотрели в мою сторону. Кровь сначала толкнулась в лицо, потом куда-то отхлынула, и я так и сидел до конца этого жуткого вечера с ледяными руками. В первую невыносимую паузу спас меня ленинградец Смолокур (мир его праху, умер уже теперь!) Его речь была энергичнее всех произнесенных ранее, в заключение он разрешил себе даже и пинок — из тех, которыми я вначале предполагал уснастить свое выступление. «Товарищ Чистяков, сказал Смолокур, обвиняет профессора Радова в беспринципности примеров, приведенных в одной из его книг, где поставлены рядом: студент-к-а и интервент-к-а. Но здесь сопоставляется не смысл слов, а только значение суффикса. Ведь если я скажу, например, что фамилии Радов и Чистяков имеют общий суффикс «ов», это не значит, что я хоть на минуту — он усмехнулся — сравниваю ученого Радова с Чистяковым»...

По стенам захлопали, и Лованько поднялся несколько торопливее обычного.

«Есть еще желающие?» — спросил он с той непередаваемой интонацией, которая говорит, что желающие более уж не желательны, и так и застыл в ожидании с поднятой в воздух вопросительным знаком рукой.

Возникла вторая отчаянная пауза. Страннее всего было, что я, мгновенно тому назад не допускаявший и мысли взять слово, сейчас вдруг почувствовал, что колеблюсь. Не знаю: может быть, расшевелил меня так смолокуровский задор, или — сверкнуло откуда-то, как зарница, тревожное лицо (вот совсем не помню, в самом деле наклонилась Женя мимо загораживающих голов, или я только угадывал это), но дрожь так и трясла меня, так и подмывало встать и сказать: «Да, прошу слова»... И — как в воду с вышки!

Эта пауза! Передать ее вибрацию мог бы разве что кинооператор. Он заснял бы одни глаза и лица. Лица и глаза. — Чистяковские, настороженно обмигивающиеся под налитыми кровью складками лба; прищуренно-иронические глаза Беленького, маленькие и подозрительные — Музы. И наконец —

самые значительные для меня тогда — горячие, нетерпеливые Женнины глаза. Потом кинооператор снял бы крупно Лованько с повисшей в воздухе пятерней. Он не смотрел на меня, Лованько, но я чувствовал, что зацеплен за какой-то из этих настороженных, выжидающих пальцев, как какой-нибудь альт — за палец дирижера. Далее оператор показал бы мое, жалко-нерешительное, лицо и — опять глаза, более крупным планом. Еще раз Лованько — и еще раз глаза, теперь, может быть, только одну пару глаз: недоуменных, с искрами негодования над пылающими скулами. **СОВСЕМ КРУПНО!**

— Нет желающих? — заключил Лованько, — и все глаза отвернулись. — Слово предоставляется профессору Радову.

Я совсем не помню, что именно говорил Радов. Помню только его лицо с полужакрытыми глазами (у него была привычка приспускать веки, когда говорил), с усилением спокойное лицо трагического. Глядя тогда на это лицо, я подумал, что во всех «защитах» на этом совещании, как и в обвинениях, именно вот это оскорбленное человеческое, личное, пренебрегалось, обходилось совсем, как будто его и не было. И еще подумал: прогнать это выражение затравленности как раз и можно было вполне «бесполезным» выступлением, хотя бы и вовсе без цитат, но и без оглядки на целесообразность и последствия. И выступление это и было бы самое ценное. . . Мысль эта отстоялась и стала отчетливой у меня уж много-много позже, — тогда же она только мелькнула мгновенно, как сквозняк, и пропала. Я только быстро протискался между столами к Радову, стоявшему одиноко у своей ниши, и пожал ему руку. Потом — обернулся к двери, где сидела Женя и где ее больше не было.

С бьющимся как попало сердцем обошел коридор, сбежал в раздевалку. Жени не было и здесь. Пропихивая руку в широкоплечий рукав пальто, спросил вполголоса Беленький:

— А я слышал, будто вы собирались кусаться за Радова? А? Или отставили. . . страха ради иудейска?

Не знаю, как я посмотрел на него, но привычное ироническое выражение стерлось с его лица мгновенно.

— Щучу! — сказал он. — Одесситы — шушливый народ. — И еще тебе: — Но все понимаю и сочувствую. . .

Нет, у подъезда Жени не оказалось. Исчезла.

Женя исчезла вообще с моего неба. То есть в те два дня, когда бывал я в институте, нигде не мелькал голубой ее свитер, и даже заглядывая в аудитории, где могла бы она быть, не заставал я ее. А на доске объявлений прочел однажды свернувшееся на кнопке, как лоскуток бересты, какое-то извещение с ее размашистой подписью — свежей, по дате суда. Вывод сделать было нетрудно. . .

Как рассказать дальше, чтобы вышло и искренне, и не банально: увы, это почти синонимы! — Припоминаю, что я несколько не чувствовал перед Женей виноватости, ни даже неловкости. Напротив: ее очевидный бойкот сердил меня. Как! неужели она не видела, что выступление мое в защиту Радова было бы бессмыслицей и принесло бы нам только осложнения и неприятности (я так и говорил иногда «нам», рассуждая сам с собой). Да, я почти негодовал, но кислороду мне без Жени не хватало, и я стал задыхаться. Вначале крепился, и мне, например, казалось немыслимым позвонить в общежитие: там старались угадать голос, приставали: кто? кто? скажи! — И уже через два дня позвонил. — Жени не было. Еще меньше допускал я — письмо. И написал. Очень короткое и сухое, но просил встретиться в дни моих занятий или ответить тоже письмом. Дожидаясь этого ответа, пропустил одну из загородных своих лекций. . . Но ответа не было. А потом пришел Май. . .

* *

*

Это был первый из двадцати с чем-то московских Первомаев, который я просидел дома. Писал и курил. Курил и писал, а когда приоткрывал форточку, влетал в нее воздух, смешанный с солнцем и звоном далеких оркестров, и становилось одиноко. За рубежом часто пишут о принудительности этих праздничных процессий. Не знаю, может быть, в ноябре — там праздник иногда приходится в самую слякоть, но Первого мая. . . Нужно ли принуждение, чтобы выманить людей, если у них нет флюса или размолвки с любимой, которая сегодня начальником колонны, — чтобы выманить людей с их тесной, скукой поросшей, жилплощади — в сиреневую рань, всегда

солнечную, на свежий, дымящийся от поливки асфальт улиц, особенно широких и вольных, потому что — без трамваев и автобусов, где загорелым шагом, белея и голубея майками, течет спортивная молодость; и неспортивная, без загорелости, но — тоже в яркости лиц и нарядов, в песнях и хохоте. . . Эту длинную фразу начал я с вопроса: нужно ли здесь при-
нуждение? — Нет, конечно, не нужно. . .

Далеко во вторую половину дня, когда в переулке зашаркали по тротуарам, захлопали калитками и дверьми, а в комнатах — тарелками и стопочками (вернулись с Красной площади, где четверть суток без отдыха, из последних сил, улыбались с мавзолея вожди), — все еще не перебродила во мне досада, что остался один.

Еще одна тоскующая душа слонялась по пустырю перед низким моим окошком — Валька, голубиный гангстер, к празднику скатившийся со своей голубятной крыши и сломавший ногу. Он волочил ее сейчас, похожую в лубке на огрызок водопроводной трубы, между здоровой ногой и костылем, сплевывая набок и отыскивая хоть какую-нибудь запятую для приложения неизрасходованной энергии. В эту часть двора привлекли его сейчас мощи яблони — единственный пережиток когда-то буйных здесь «зеленых насаждений» дореволюционной давности. Насаждения в то время отгораживались от соседнего дома и внутреннего двора высоким заборчиком и принадлежали только жильцам нашего особнячка. Яблони и жидкий вишеник, смородиновые кусты, рябина, клумбы с пионами и даже двухметровый гибкий, как балерина, тополек у самого окна — посверкивали по утрам росой, просыхавшей потом на весь двор мятной влажностью. Когда наш и смежные дома превратились в «жилтоварищество», заборчик упразднили на основании трудноопровержимого довода: «другие тоже хотят», и насаждения в рекордно короткий срок самоистребились с корнями. К этому маю площадка перед моим окном была подлинное Гоби в миниатюре, и по ней от образовавшегося после снятия заборов сквозняка пробегали даже иногда невысокие пылевые смерчки. Председатель жилтоварищества стал выпускать сюда своих кур, и эти жертвы цивилизации, яичные дегенераты пернатого царства, копясь у стены, вздымали фонтаны пыли в мою форточку. Я послал Полю сказать, что остаюсь последовательным противником частной собственности в коммунальных владениях и, если

пернатых из-под моего окна не уберут, буду стрелять их из мелкокалиберной винтовки с подоконника. Кур убрали. . .

Я следил за тем, как Валька, ловко и с каким-то особенным вывертом (видно было, что эта система передвижения, несмотря ни на что, занимала его новизны ради), доковылял до останков яблони и что-то разглядывал. Что — установил я тут же с изумлением: яблоня, оказывается, была еще не совсем покойницей: жил один сук, весь в буграх, как в подагре, и я ясно разглядел на нем через стекло две бархатистые бело-зеленые почки. Валька оперся подмышкой о костыль и потянул другой рукой за сук — останки яблони испуганно задрожали в воздухе черными подагрическими ветками. Он избочился сильнее — подтянулся на руке кверху, — сук крикнул и сломился, повиснув на узком серо-зеленом язычке кожицы. Покончив с пережитками, Валька поковылял обратно.

Я же продолжал писать до самой иллюминации.

* * *

•

Писал я и весь второй праздничный день. Поле велено было говорить всем, за единственным — невероятным — исключением: «уехал за город». Исключения не случилось, и я пропился до закатного солнца в окошко.

Писал я нечто пространное, что назвал тогда: «Сентиментальная повесть». С этой моей тогдашняя «Сентиментальная» сходна лишь общностью темы и действующих лиц, но совершенно отлична по своему лирическому бурлению: после размолвки с Женей бурление это было — как паводок, и я именно для укрощения придумал переключить его в некое сюжетное русло. История с Радовым была у меня, разумеется, зашифрована, как ребус. Радов в этой повести был химиком-изобретателем, подвергшимся за неполную сознательность «общественному перевоспитанию». Далее был у меня и партийный «злодей», соответствующий Голованьке, и герой с «расщеплением»: становиться или нет на защиту перевоспитуемого. Боюсь, что с моей теперешней точки зрения аргументы за невмешательство были уж не столь убедительны, но, так или иначе, герой остался пассивным, а героиня, сперва от него отвернувшаяся, потом, к чудесному весеннему «хеппи энд», признает его правоту.

Вот какая повесть! Писалась она на курьерских, потому что была уже заранее просватана в один из не очень толстых журналов: редактору актуальность темы понравилась, и он обещал печатать повесть сразу же, как будет готова — такие темпы! Но в первую очередь, конечно, она должна была служить ответом настоящей, не выдуманной моей героине. — Женя жадно любила литературу и с той особенной, драгоценной для авторов, серьезностью, которая, кажется, только нашей молодежи и свойственна, готова была часами обсуждать реплики и поступки героев, как если бы они были ее — через стенку — соседями. То небольшое и малозначительное, что было тогда напечатано из моих писаний, принимала она также всерьез, хоть и весьма критически. Наконец, она, Женя, написала и сама один рассказ, и эта история настолько для нее показательна, что стоит вспомнить: однажды, осенью прошлого года, Женя подошла ко мне в коридоре, размахивая письмом со штампом редакции известного пионерского журнала. — Вот, — сказала она, смеясь, — просят нас, комсомольцев, стать писателями! Для ребят!

— Ну что ж, вы и попробуйте.

— Смеетесь!

— Ничуть. Хотите, попробуем вместе? У меня как раз консультация, и никого нет. Вот и напишем.

Мы и написали. То есть я продиктовал Жене маленький, в две всего странички, рассказик на одну из модных тогда взятых на воспитательское вооружение тем. Я настоял, конечно, чтобы Женя подписала рассказ своим именем. Она и подписала, хохоча. А когда через недели три рассказ появился в журнале, и с иллюстрациями, — очень была смущена: раза три кряду встречала меня с самолюбивой складкой между бровями и с надутым подбородком. А потом — вот что делает гордость! — принесла мне другой рассказ, на этот раз уже ею самой, без посторонней помощи, написанный. И написанный хорошо! Рассказ тоже напечатали.

Я сидел и писал в папиросном дыму и сирени. «Сирени» здесь не сентиментальность, по крайней мере — в этом месте повести. Просто-напросто Поля поставила в мою комнату, прямо на пол, два пребольших ведра, каждое — с лиловой горой распустившихся и нераспустившихся и теперь будто приза-

дохнувшихся от табачного дыма сиреневых веток. Это соседи по квартире срезали всю сирень в нашем палисаднике, опасаясь «сиреневого налета» с улицы. Налетчики, ортодоксальные враги всякой собственности, однажды даже обе выходных наши двери приперли упорами, чтобы им не помешали до конца экспроприации. Мудрое решение — срезать все цветы заранее — было принято на общежилищном собрании. Я оставался против: я предпочитал видеть в палисаднике хоть несколько забытых налетчиками лиловых кистей, свободно качающихся в воздухе, чем целую грудку их, сдавленную, как головы на эскалаторе, — в моей комнате, где ведра вдобавок надо было обходить, чтобы не споткнуться. Но — что поделаешь! это было решено голосованием, хотя еще 200 лет тому назад Сумароков, которого недавно сдавала Женя, удивлялся тому, что «вещи по большей части утверждаются большинством голосов, хотя невежд больше, чем просвещенных людей.»

Кстати, о головах на эскалаторе: когда вечернее солнце вползло оранжево в окно, я как раз описывал сцену в метро, уже знакомую читателям. Только прежнее — московское — описание было много сентиментальней и чуть что не с мистикой — не думаю, чтобы его пропустил редактор. Например: герой, проводив свою девушку, возвращается вниз, в подземный вокзал, и видит вдруг так необыкновенно похожую на нее другую девушку — каменную. Это — как у меня теперь, но дальше... Дальше он глядит на нее, глядит, и такова его влюбленная, восторженная взбудораженность, что на мгновение каменные черты сливаются в его воображении с настоящими, теплыми, живыми... Иначе: каменные черты оживают, и вот она, в ответ на слова, которые шепчет он ей про себя, отняла лицо от книги, посмотрела на него, и что-то мягкое, виновато-нежное дрогнуло на ее горделивом подбородке. Он протянул руку и помог ей сойти с пьедестала. И они пошли по пестрой мраморной мозаике пола к бегущей по обе стороны матовых фонарей лестнице. Стремительно выскакивавшие справа-слева фигуры бежали по бокам, обгоняли, сталкивались, смыкались плечами, заслоняя вдруг ее фигуру (он шел не рядом, а сзади, чтобы все время на нее смотреть), и он испуганно прибавлял шаг... И все восхищался, и находил для нее какие-то новые ласково-восторженные слова, и пытался уложить эти слова в ритм, который слышал, в рифмы, кото-

рые тоже где-то в нем пели, и, не сумев, повторял по многу раз вдруг пришедшее чужое, готовое, вроде, например, пастернаковского:

Красавица моя, вся стать,
Вся суть твоя мне по сердцу,
Вся хочет музыкою стать,
И вся на рифмы просится...

И опять:

Красавица моя, вся стать...

Да, так вот и писалось тогда. И помню: только записал я последнюю стихотворную строчку, размахнувшись на много более, чем нужно, точек, как что-то золотистое качнулось на мгновение передо мной за окном, оставив, тоже на миг, что-то розовое и быстрое. Это быстрое — рука — постучало в стекло пальцами, оборвало повесть (навсегда, окончательно и обжалованию не подлежит) и скользнуло за ставень.

Выбегая из комнаты, я больно споткнулся об одно из сиреневых ведер.

Золотистое был Женин сарафан. Из какой-то простенькой материи кофейного цвета с искоркой, взблескивающей на солнце, и кажется в мелких цветах — не помню. Вся девичья весенне-летняя Москва цвела в таких сарафанах — золотистых, голубых, красных, в букеты, в канитель, горошком — кружилась в Парках отдыха, высыпала из пригородных казанских и ярославских поездов (Осторожно! высокие платформы!), текла по просекам Малаховки и Клязьмы к горячим речным пляжам и подмосковным атласным прудам.

Золотисты были лоб и щеки Жени (когда успела столько вобрать в себя солнца?), и руки из-под короткого рукава. Лицо очень похудело, и румянца — только на скулах кусочек. Смотрит в сторону, хоть и слышит уже шаги, и какой мирный подбородок, будто грустный даже... Все это я, не разглядывая, вобрал в себя, подходя; но никогда, ни тогда, ни после, не мог объяснить, почему, хоть и ходило во мне все ходуном от возбужденности и восторга, так затягивал шаг, так медленно открыл-прикрыл решетчатую дверцу, еще медленнее обошел

изгородь. Кому, для чего нужна была эта надуманная сдержанность? . .

— Здравствуйте! — обернулась Женя. Когда обернулась, позднее солнце плеснулось ей в лицо, и она, чуть сощурившись, отступила на шаг от меня, в тень. — Опять не прощу себе никогда двух-трех секунд возникшего после этого холодного молчания.

— Я принесла вам две ваших книжки. Вот! — сказала Женя.

Действительно, книжки. Две книжки по восемнадцатому веку, которые давал ей для экзамена. — Зажаты под бронзовым локтем. Взял книжки.

— Только затем, чтобы отдать книжки, и пришли, Женя?

— Нет, не совсем затем. . . — И во взгляде — мимо меня — и в паузе после этих ее слов гнездились ожидание.

— Получили вы мое письмо?

— Получила. Но никак не собралась ответить. А честно сказать — знала, что найду к вам сама.

— Да, нам нужно поговорить. . . Я хотел вам непременно изложить свою позицию. . .

— Какую. . . позицию? — спросила она, глядя теперь уже не в сторону, а вниз, на свои тапочки — резиновые, с желтой полоской, спортивные тапочки, надетые на босу ногу. Как они напряжены были, эти тапочки! Особенно — одна, под круто выкругившимся, с голубой жилкой, подъемом, растиравшая носком песок — мелкими, упрямыми полукружьями-толчками: раз, другой, еще. . . До чего запечатлелись они в памяти, эти тапочки, ожидающие, что я скажу.

— Позицию в этой истории Радова. Тогда, на совещании. . .

— Не стоит об этом сейчас. . .

— Почему? Я целую повесть задумал. На этот сюжет. Обязательно хочу показать вам понагляднее, почему я был прав.

Трудившаяся на песке тапочка стала вдруг на всю ступню, застыла.

— Прав? — переспросила Женя. — Вы был прав?

Откуда взялось у нее это нелепое единственное число? И откуда у меня, хоть я и чувствовал, что решается что-то главное, — откуда у меня достало холодного внимания, чтобы отметить про себя эту ее ошибку? Спрашивая, Женя взглянула мне в глаза, и теперь не ожидание было в них или неловкость, а почти отчуждение. — Глаза в глаза, — и я первый отвел

свои. Из переднего дома во двор выпрыгнул футбольный мяч, за ним, вихляясь по ступеням с костылем и кульпяпкой, — Валька. Мяч покотился на нас. Валька заковылял следом.

— Может быть, пройдем ко мне? или в палисадник? — предложил я. — Там есть скамейка.

— Нет, мне через пять минут — на бюро. Спасибо... Еще хотела сказать вам: я решила на комиссии проситься на работу к себе, в Б.

Ничего не мог бы ответить, если б и хотел: так было неожиданно.

— С аспирантурой все еще не решено, а если на периферию, то самое правильное, я считаю, в родные места, — пояснила она.

Она говорила это медленно, со слишком уж убедительными движениями головы и подбородка. Именно потому мне снова стало казаться, что за каждым словом своим ждала она возгласа. А я молчал... До него было около двух суток езды от Москвы, до этого городишки Б. Глухая провинция! И этот план у нее — не игра! Это значило, что я действительно скоро больше ее не увижу. Представить себе этого я не мог — сразу сделалось холодно. Почему-то казалось, однако, что сказать можно только «караул!» или напротив — что-нибудь холодно-сдержанное, в стиле, который так усвоил себе тогда.

И я, стараясь дышать ровнее, сказал:

— Вот как!

Валька звучно поддал мяч выше чердачного окна.

Я почувствовал, как почти вздрогнула Женя от этого « вот как »!

— В общем, Алексей Филатович, — заговорила она вдруг звонко, словно с эстрады объявляла номера, — увидимся, верно, до моего отъезда. Может — на заключительном вечере. А сейчас я пойду.

— Да постоит, провожу вас до института, по крайней мере...

— Нет, нет, не надо! Вы... она взглянула на мою пижаму и качнула головой отрицательно (проклятие! я так и вышел в пижамной куртке, вместо пиджака, надетой без ничего) — вы так не можете на улицу, а мне нельзя ждать. Я бегом...

— Буц! — это Валька наподдал мяч в новую свечку.

— Пока! — сказала Женя все так же звонко, потрянув мою руку, и повернулась идти. Как раз в ту секунду мяч, выйдя

из свечки, ударился в решетку палисадника, совсем рядом с нею, и, отпрыгнув, покатился к воротам, пестря латками на покрывшке. Нет, конечно, не из спортивного рефлекса, а чувствуя на себе мой взгляд и чтобы как можно скорее от него скрыться — побежала Женя за мячом вдогонку. Я стоял потерянно. Я видел и переживал одно: как она от меня отдалялась. А думал... Думал, верно, что если счастье умеет бегать, то у него никакие другие, а именно эти вот взблескивающие золотистыми икрами ноги, которые сейчас убегали от меня. Вот, миновав мяч, пошедший в сторону, они остановились на секунду перед калиткой. Одна перелетела, другая, сверкнув до колена, медленно перекатилась через высокий чугунный порожек, даже задержалась немного на нем, и — словно ветром качнуло ее за серую створку ворот, — как цветок.

Все!

Так оборвалась повесть.

4.

Так оборвалась повесть. И было это так невыносимо, что уже минуту спустя после того, как исчезла Женя за моими воротами, и позже — тринадцать целых лет — я не переставал придумывать продолжения. Я дописывал ее на фронте, в письмах в Москву, — сколько их отправил я в неизвестность (мы были уже надежно окружены)! Дописывал, собрав всю нежность, на которую только был способен, на которую только и можно быть способным — в каменной тяжести шинели, набухшей дождем и грязью, когда тщишься задремать не потому, что не спал неделю, а чтобы забыться, и в дреме обретаешь эту самую нежность, невиданной концентрации. — Но ответного письма не было, и повесть оставалась без конца. Я дописывал ее в белорусском лесистом наболотье, с прелым воздухом, пополам с комарами, и коричневой водой, пополам с головастиками, втекавшей в окоп вместе с первым же тычком лопаты. И потом, когда мины и комары сменились лагерными колючками; и позже, когда выпустили из барачного удушья на воздух, и я стал говорить за какие-то «против» и против каких-то «за», чувствуя себя при дневном свете борцом за эти

«против-за», а по ночам — изменником... Бесполезно! Моя сентиментальная повесть оставалась недописанной, потому что у нее и не могло быть конца!

О сентиментальности: помню, когда-то, на скучной должности дегустатора бездарностей и талантов в одном из столичных издательств, как сурово обрушивался я сам на «сентименты» в подсовываемых рукописях! И сколько знал таких же, как я, гонителей сентиментального из нетерпимой когорты критиков, литературоведов и прочих фарисеев и книжников! Но все это было «до»... То есть, я хочу сказать, что на войне я не встречал ни одного из них и им подобных, кто не был бы иногда смешно сентиментален. Кто, в ожидании назначенной на рассвете атаки, не слушал бы всю нестреляную ночь напролет, боясь прозевать слово, самый немудреный, самый наивный рассказ о доме и о ней... Больше того: кто, пережив эту ночь и эту атаку, не остался бы верен этой сентиментальности на всю жизнь, не включил бы ее в неперменные условия жизни. Нет, право: в эту войну вовсе несентиментальны были только безнадежные сухари или лицемеры. Еще — кретины...

... Лесная воронка. Темень, дождь, промозглость. Полевой телефон, укрытый палаткой, и рядом всхрапывающий связист, которому позволено отдохнуть, чтобы самому стеречь, чтобы самому не пропустить, если оживет и зажужжит зуммер и еще один раз принесет спасение... Вспышки где-то над головой, и совсем рядом — выстрелы, и дробь дождя по шинели, палатке, сучьям, и в схватке со сном секундами куда-то смещаешься прочь, и плывут вдруг мимо самые милые лица, и звучат вдруг самые нежные слова. И, в жизни не будучи сентиментальным, вдруг ворошишь в памяти чужие сусальной задушевности мелодии, рифмы, строчки... Совсем ни к чему, совсем ни о чем подходящем. Вроде: «О лазурное царство! Я видел тебя во сне». Ну — зачем это и откуда? — Все равно, твердишь и твердишь, уже очнувшись совсем, под ракеты, под дождь, под молчание зуммера: «О лазурное царство! Я видел тебя во сне!»

Связист храпит, захлебывается. Дождь сечет. Шинель негибаема и каменна, и страшно повернуть шею...

«О лазурное царство! Я видел тебя во сне»...

Ну не ерунда ли?



Но именно от этих сентиментальностей, так чуряющихся скепсиса и расчета, брел я в своих размышлениях там, на фронте, да и позднее. От них пришел к чувству виновности своей в рассказанной выше московской истории, виновности перед самим собой и другими. Это Женино: «Вы... прав?», чем оборвалась повесть, звенело в ушах, потому что тогда не сумел ей ответить: «Нет, виноват! И очень.» А разве не этого ждала она от меня? Этого, конечно. Может быть, еще и другого признания, но оба в конце концов составляли одно. Какие странные, неосязаемые, как атмосферное давление, но прочные путы все во мне связывали тогда, все искажали: мою правду (потому что не мог же я, хоть в глубине, хоть на самом доньшке сознания, не знать, что я должен был делать, не лукавя, по человечеству) и мое отношение к Жене, Бог знает какими ненужными перегородками отгороженное от ее ко мне ясности и простоты. И если бы отбросить эти путы, разрушить перегородки, какая бы — так мне теперь казалось — могла возникнуть во всем гармония!..

Так мне казалось. И в сознании своей виновности в том, что никакой гармонии не осуществилось, я все придумывал для повести никогда не сбывшиеся окончания.



И опять факультетская доска объявлений, вся шевелящаяся клочками, оповещающими об экстренных собраниях, о походе в противогазах, об инструктаже ПВО, о первом занятии курсов медсестер. Москве военной — шесть дней, а я вчера вернулся из Рязани, куда поехал было для лекций, а пуще — от Жени, то есть от желания ее видеть и неосуществимости этого желания: после последней встречи, во дворе, ничем не давала о себе знать. Вот и сейчас: я разглядывал объявления, за спиной шаркали и постукивали шаги, и я знал, что это ни за что не окажутся ее шаги. Впрочем: московской моей жизни оставалась всего неделя — второго июля я уезжал на фронт, и от этого многое, что было прежде важным, в том числе и уколы самолюбию, казалось теперь не стоящим ника-

кого внимания. И Жене, наверное, тоже. Но в Москве ли она? Не уехала ли? И вдруг в самом уголке доски, совсем мирное: «Экскурсия в ГАБТ на «Травиату». Дебют артистки Чецкой. Места — балкон второго яруса, цена... Желающие:... Среди подписей желающих — Женина подпись!

Вспомнил, что уже слышал историю этого необычайного в советской театральной жизни дебюта: певицу Чецкую, чтобы выдвинуть, показали в Кремле «самому». «Почему она не в Большом театре?» — спросил «сам», которому певица понравилась. И вот она уже и в Большом театре... А от листочка, где лиловела знакомая остро-размашистая подпись, несколько лишних секунд не хотелось отходить: представил себе, как Жения расписывалась, тут же на доске, чуть нахмурившись и придерживая листочек за угол измазанными в лиловых чернилах пальцами.

* * *

*

Это было вполне безнадежно — рассчитывать на билет в кассе накануне дебюта, на который непременно ринется вся театральная Москва, но я все-таки зашел в один из боковых подъездов слева от колонн, в уныло серую, не по месту, комнату с окошком за перилами. Седая голова в окошке качнула «нет». Но уже в коридоре, прежде чем потянул дверь, задела локтем небритая фигура, и другая голова, в кепке по самый нос, сказала сквозь зубы: «Два на Чецкую. Партер второй»...

Вот и сидел назавтра в «партере втором», рядом с зевающим пустотой креслом, в зале, наполненном до последнего стропонтена, с шеей, ломившей от беспрестанного верчения и бинокля, и с тяжелой от сыпавшегося со всех сторон грохота головой: очень хлопали! В самом деле: голос был великолепный, ювелирной отделки, чуть, может быть, холодноватый и слишком блестящий для Виолетты. — Хлопали, впрочем, и потому, что Альфреда пел один из двух теноров, разделивших девичью Москву на две враждующих секты. Сектантки одаривали капельдинера артистической за то, чтобы постоять в «его» (не капельдинера, конечно) калошах, и по-птичьи, суетливыми толпочками, у которых, казалось, один восторжен-

ный рот и одни блестящие, как у синиц, глаза, ждали после занавеса у подъезда выхода своего кумира. Неистовствовали сектантки и в тот вечер. Помню, справа надо мной, в литерной ложе, сидела бледная жертва мужниной славы — жена тенора. Мы были знакомы и, встретившись глазами, помахали друг другу рукой, — и тотчас налипли на нас обоих, перелетая с нее на меня и обратно, как мухи, подозрительные (мне) и неприязненные (ей) взгляды.

Эти впечатления, которые ворошу сейчас, отстоялись в памяти уже много позднее: в тот вечер все они были взболтаны до неотделимости, и я мало что замечал, — в тот вечер было мне редкостно тяжело. Часто прежде, слушая «Травиату», всю растасканную по граммофонным пластинкам, почти по шарманкам, оставался я равнодушен. Теперь — переживал, все проектируя на себя. Каждая трагическая нотка, каждый вскрик скрипки, казалось мне, тоскует вместе со мной о том, что слышу их — в последний раз. Это ощущение, — что именно в последний раз вижу этот вот занавес, бархатно-красный с золотом зал и летящие на плафоне фигуры — было пронзительно. Но, может быть, еще пронзительнее была пустота кресла рядом. Жени я не видел. Снова и снова, в каждом антракте, обводил ярусы биноклем — хорошим, мощным биноклем, в котором шевелились головы с розовыми, свежими, и мятыми, пудренными щеками, натуральными и нарисованными ртами, руки, равнодушно обмахивающиеся программами, и руки со сплетенными пальцами, сжатыми от волнения так, что вот-вот кровь брызнет. — Жени не было среди них. Минуя правительственную ложу (Молотов, Жемчужина, Микоян...) — быстро минуя эту широкую ложу, шарил по ложам узким, справа и слева, и тут вползали в круг парикмахерские прически и плотные грудастые декольте, — нет, здесь и не могло быть. Нет ее! Так и сидел с этим «нет ее»...

Как тихо чувство светлое
Мне душу наполняет...

— выводил тенор. — Мне не наполняет. То есть наполняет, но совсем не светлое... Ах, убрать с этого отчаявшегося кресла программку — пусть кто-нибудь сядет. Спросит разрешения и сядет...

Перед смертью Виолетты я все-таки Женю нашел. Это был амфитеатр, левая сторона и самая глубь, которую зацепил я биноклем совершенно случайно. Очевидно, дополнительно раздобыли билеты и тут. С Женей рядом мельтешило несколько знакомых, коридорно знакомых лиц. Антракт только начался, и лица, поднявшись над рядами стульев, плыли влево, к выходу. Я заторопился, почти побежал по путаным переходам и лестницам. . . Было и недоумение, и будто неловкость на встречу, когда подходил к зажатой между рядами студенческой стайке, но все сменилось тревожным, глубоким, почти материнским теплом, когда сказал: «Через пять дней еду».

— Пойдемте, Женя, в партер, у меня два места.

Она посмотрела виновато-просительно: ей не хотелось переходить, может быть — из-за костюма: была на ней новая шелковая блузка, а юбка все та же, старенькая, коричневая, истертая по швам. Оба мы разом взглянули на соседей, и билеты мои ушли мгновенно: все понимали, что нам с Женей хочется побыть рядом. И мы остались рядом.

Теперь я чувствовал справа от себя Женин теплый локоть на вытертом бархате ручки. Говорить не хотелось. Когда потушили свет, я видел, как Женя, зацепив носком за высокий каблук, стянула одну за другой лакированные «лодочки» (очевидно, взятые напрокат) и так и осталась сидеть с серыми пятнами поверх задников. «Жмут, не мои!» — шепнула она мне, повернув на секунду лицо. И положила потом горячую маленькую ладонь на мою руку. Так просидели весь плакучий последний акт. Трагическая музыка теперь, когда Женя была подле, проектировалась на меня по-иному: да, разлука, даже и смерть, все это близко, быть может, но эта милая рука на моей — как якорек, который всегда, где бы ни довелось быть, в какой ни на есть могиле, будет поддерживать, притягивать, звать назад. . . — В таком, примерно, роде думалось.

Под неистовый рев и бесконечные выходы на авансцене протискались мы сквозь гущу сектанток в коридор и на лестницу. Ох, как много их оказалось, Жениных экскурсантов! И — Чистяков, непременный спутник! Было неловко отделяться, вместе вышли на строгую, чернильно-черную (затемнение!) Театральную. И тоже не удалось, как хотел — лешком, а сели всей кучей в синий трамвай, то есть трамвай с синими противозащитными лампочками, от которых все казались лунно-заговорщицкого цвета и даже говорили шопотом. Мы с Женей

не разговаривали и здесь, до самого Новодевичьего, до конца. На остановке снова было чернильно темно, и, воспользовавшись этим, я повернул с Женей в сторону от общежития, к монастырю. Через несколько секунд оказалось, что он виден отлично: мрак тушью стекал со ступенчатой колокольни, и она вырисовывалась черносине на сером воздухе. И башня всплыла Софьиная, и мерцающей светотенью прорезались зубцы стены, внизу же она попрежнему пропадала в черноте. Мы пошли на невидную угловую башню, обогнули, и справа блеснул пруд, один из «бедно-Лизиных» прудов, но не настоящий. Только в нем я увидел, почему было темно: увидел рогатый огрызок месяца, беспомощно барахтающийся в воде тусклым серебром под плотными белесыми облачками, которые одно за другим перекатывались через него и толкали в воду, словно пытаясь утопить. Мы молча смотрели на эту игру сквозь ветки и дальше не пошли. От стен ли, из-под берега ли, несло плесенью, а вообще со всех сторон — весной. И я сказал:

— Я виноват был, Женя... Простите.

Она молчала.

— Вы знаете: виноват, потому что...

— Знаю...

— И, как когда-то в метро, коснулась моего плеча подбродком...

— Вот какой якорек! Путевка на возвращение!..

Не было ничего этого! Ничего! Все выдуманно много позже... То есть, был театр, Чецкая, аплодисменты, чувство, что все это в последний раз. Не было — Жени.

На другой день после панической ночной стрельбы из всего, что было противоздушного, — первой и так напугавшей москвичей «пробной» тревоги, как потом писали в газетах, — я не выдержал: зашел в институт спросить про Женю у Музы.

— Уехала по заданию бюро в Малоярославец! — сказала мне Муза. — А ты не знал? Когда ты едешь? второго? Может быть... — нет, еще не вернется. Ужасно досадно!..

* * *

«Дальние провода — лишние слезы». Вот и эта мудрость, как и нападки на сентиментальность, вымудрена была до по-

следней войны, до тоталитаризмов и железных занавесей. Потому что «лишних» слез при разлуке навечно не бывает. Чего бы не отдал я за одну только слезу, которая капнула бы мне на щеку с другой, прижавшейся щеки, когда я уезжал из Москвы. Не было такой слезы. Ни лишней и никакой. Что меня никто не провожал, получилось довольно просто: к тому времени из близких оставалась у меня в Москве только сестра, готовясь эвакуироваться куда-то до или еще дальше Урала. У нее было достаточно своих печалей и я, прощаясь, оставил ей кое-какие бумаги и рукописи (и неоконченную повесть свою тоже оставил, надеясь, что, может быть, зайдет Женя) и сам отговорил провожать. А многие из друзей — с ними раньше простился — думали, вероятно, что не надо мешать другим «задушевным» проводам, которые подозревали и которых не состоялось. Да и мудро было это — проводить на фронт: никто не знал, когда и куда повезут нас со сборного пункта.

Меня привезли на Киевский вокзал, неудобный и словно всегда недостроенный, но милый, мой вокзал, с которого я ездил на дачу столько веселых и невеселых, беспечных и озбоченных раз.

Громадная коробка ожидального зала была сейчас — в каждом уголке и на каждой паркетинке — ареной расставаний, и воздух в ней всхлипывал. Лица морщенные, в слезах по морщинам, и свежие — в мокром румянце, разгоревшемся и от горя разлуки, и от первых, на людях, объятий с любимым; лица, смятые отчаянием, и лица с отвердевшими слезами в глазах и надрывно бодрыми улыбками... Сколько их! и как тесно! — я с трудом проталкивался к выходу на перрон, сам не зная зачем спеша. То же было и на перроне: матери, бабушки, дети, подруги, тоскливого тембра разлуки глухой расставальный гул, и детские выкрики: «Папа, а ты...» «А когда...».

Поезд был третьеклассный. Переполнен, головы из окон торчали гроздьями. Но именно поэтому я легко нашел себе место у противоположной стены, в тылу налипших на окна спин.

«Дальние проводы — лишние слезы». Помню, когда за окном по перрону пропечатали твердые чьи-то шаги, а другие, нетвердые, табунком, затоптались, зашаркали, и кто-то в голос заплакал, и спины, совавшиеся в окна, совсем налегли друг на дружку, — я не выдержал: протискался сквозь кори-

дор и площадку на буфера — так хотелось тоже и для себя перехватить контрабандой — нет, не слезу, а хоть бы один провожающий взгляд: тоже, мол, едет, бедняга, на фронт... как наш...

И поезд тронулся.

— Пройдите, товарищ, на площадку, тут не разрешено! — сказал железнодорожник. — Пройди... — он посмотрел мне в лицо, и отошел сконфуженно. И я отшагнул с буфера, но так и ехал на мостике, разъезжающемся туда-сюда ножницами: пугало набитое тоскливыми человечьими глазами вагонное нутро, и хотелось увидеть, как пробежит мимо Переделкино, охнет деревянная платформа, холодком пахнет парк, а за ним, в разрыве елового дальнего гребня, мигнет высокая шиферная крыша дачи. Где жили.

Стоял я и после Переделкина. И после Апрелевки. Помню, в сумбурном спелении мыслей и холодного, ломящего, как во льду, одиночества, пришел почему-то на память Радов — тот, на совещании: с полуприкрытыми глазами и сдерживаемым выражением затравленности на лице. «Неприменно, непременно надо сказать за а...» Это — Женя. Вот, поняла и встала за человека...

Колотит по стыкам поезд! 48-ой километр, Алабино! Здесь отслуживал в лагерях свои армейские полгода, и потом — летние повторные сборы. Речка, которая, когда сыпались в нее палаточные жители в перерыв или после маршей, делалась шоколадной, в пузырьках, выбегала из собственной постели — такая была необильная... Вот он, мостик! И грибной лес...

Думалось, думалось пестро и стремительно, как карусель. Женя, Радов, вся история наша. Что это все? Я не уверен, что теперь, припоминая, я не переосмысливаю тогдашних своих мыслей немножко на теперешний лад. Но все-таки в истоках своих были они, кажется, и тогда и сейчас одинаковы. Женя... кто она? Я вот читал много лет позже, (читаю, случается, и теперь) о воспитании во лжи, нивочтоневерии и цинизме. А тут — какая брезгливость ко всякой даже искусно замаскированной фальши, какая нетерпимость к соглашению с совестью! Какая жажда правды! Кто оказался более бескомпромиссным? Женя или я? Ну пусть Женя — особенная, вся вкрутую, упрямая, как ее подбородок, но разве не знал я других — белобрысых, задорных, в веснушках... Вот они, так и стоят

перед глазами, и бунтуют, и машут руками, и спрашивают: ну же! А вы кто? А мы — кто? ... И они в их отрицании подлости готовы пожертвовать даже теплом любви — единственным своим простым, бесприданым счастьем. . .

Так и доехал я на сцепе до Наро-Фоминска. Здесь слез походить. Стоял еще один поезд, как наш, полувоинский, а между ним и нашим — обратный, домой. Из окон его в обе стороны глядели на отъезжающих сочувственные глаза. Я прошел по узкому и душному межвагонному коридорчику почти до паровозика, мелкого, пыхтящего трубой на Москву. Прошел, глядя на колеса — в зеленоватом мазуте у оси и пыльные к ободам; правые — те, что на Москву, казались мне блеще и радостнее. Когда повернул, паровозик крикнул тенором, и мутно-зеленый, в бляшках-заклепках, нижний край вагона поплыл вдоль моего плеча. Проплыла дощечка, белая в потеках, с надписью «Малоярославец». Малоярославец! С этим поездом могла бы возвращаться в Москву Женя. Могла бы! Я поднял глаза — и увидел ее в последнем наплывающем на меня окошке. Она сильно высунулась, махая рукой, — она заметила меня раньше, когда подходил. — Какую радость, отчаяние и — что еще, такое же драгоценное, нужное мне, как воздух, выражало ее лицо? Как он уже быстро шел, поезд!

Она рывком, от самой талии, перекинулась ко мне. Осторожно, Женя моя!

— Вы на фронт? Уже? Я не успела. . .

— Я виноват перед вами, Женя.

— Что вы! Я. . . Осторожно! Ах, не надо руку. . .

— Пишите, Женя.

— Непременно. Я буду ждать. . .

— Да?

— Счастливо! Ради Бога, здесь колесо! Счастливо. . .

Вот он, «якорек»! И я успел только. . .

Ничего я не успел! Не было и этой встречи: я выдумал ее тогда, расхаживая между вагонами, под чужими взглядами сверху. Встречи не было. Мы не увиделись. Так и уехал я с трещиной в душе, и — как знать, не в эту ли трещину вдуло

потом спасительное ли, пагубное ли безразличие, холод бесцельности противиться судьбе, — в эту и в иные трещины и травмы, вывезенные из дому и пронесенные сквозь войну в изгнание. Впрочем, кто из нас, теперешних, принес в изгнание родину гармоническую? Мы ее не знали. Она мерещится разве что тем давним беглецам, которые, уехав из края тенистых еще усадеб и румяных еще тургеневских Хорь-Калинычей, сохранили их образ навеки и вечную к ним любовь! — Любовь к «до» и ненависть к «после», ибо «после» для них уже перестало быть Россией. Я знал родину негармоническую, родину усадеб разрушенных и кое-как, с протезами, поднимающихся на другой уже лад, и тургеневских мужиков, в бедах и ожесточении давно потерявших прежнее классическое обличье. Свою родину я уже не мог изображать только черно-белым, с осью, рассекающей ее на «после» и «до». Да и не хотел: я любил ее и «до» и «после», «после», пожалуй, и большее любил, потому что сам был частью этого «после» и не мог рассечь своего сознания по одному только временному признаку. Все живое, хоть бы и негармоническое, всегда любят больше, чем дорогих покойников, потому что такова и вообще любовь, потому что любовь к музейному — не любовь вовсе, а почитание, потому что любовь — никогда не пастораль, потому что, как писал один поэт:

Землю,
 где воздух,
 как сладкий морс,
 бросишь
 и мчишь колеса, —
но землю,
 с которою
 вместе мерз, —
 вовек
 разлюбить нельзя.

* *
 *
 *

Но — мимо всех этих лирических отступлений, — какое подобрать к повести замыкающее сюжетное звено? Было оно вообще?

Было, хоть и хрупкое, но очень для меня важное — всю завершило цепь!

Было это — в местечке Бровары, под Киевом. В «питомнике» командирского запаса, откуда нас распределяли по полкам. Как раз и было накануне переброски на передовую. Наш тамошний лагерь — это сосны и сосеночки, впритык друг к другу и разреженные, на песчаных дюнах различной желтизны. Между сосенками — палатки, в которых мы, а подальше — кирпичный штаб. Много суеты, и немцы сверху заметили и бомбили. Чаще всего — без толку: мы пооткопали щели, и только деревья страдали безропотно. Однажды прошумел ливень, и щели (наш участок был в лощине) залило почти до краев. Я дымил махоркой, сидя в специальной лесной канавками окопанной «курилке», когда сверху пророкотало мимо, и бомба заскрежетала, падая. Только и успел прижаться к мокрой земле, но видел, как искаженный страхом (дрожал при одном сигнале «воздух!») сбежал с горюшки наш взводный писарь Шик, и почти одновременно с бомбой, с разбегу — плюх в щель! — из-за веера брызг, помню, торчала над желтой пузырчатой водой одна голова с бледными отдувающимися щеками и белками, вертящимися, как на мультипликации.

Бомбу только одну и сбросили в тот раз, а когда отгремело два грома: уносящейся «штуки» и хохота над черной, облиплой, в глиняных мазках и потеках, фигурой Шика, карабкавшегося из окопа, он, нешикарный этот Шик, порывшись в чавкающем кармашке, отыскал глазами меня и сконфуженно подал что-то расплывающееся, липкое — на ладони.

— Телеграмма вам, — сказал он хрипло. — Я извиняюсь...

Телеграмма, которую я не развернул, а раздул дыханьем, едва касаясь, была от сестры:

«С е г . . н я . . . ж а ю . . . л я б и н с к » — сегодня уезжаю в Челябинск, — прочел я уверенно. А дальше: «Была . . ня . . луем». Была Женя, целуем. . .» Это тоже казалось, хотело казаться, совершенно несомненным: «. . ня» значило «Женя», непременно и только «Женя», — про всякое другое «. . ня» сестра не написала бы «целуем». И вообще не написала бы. . .

Дорого дал бы я (если признаться честно), чтобы и две первые буквы не размывла глупая вода! Но поверил и в размывтые, и верю и сейчас: слово было «Женя». Значит, сестра отдала ей мою неоконченную повесть, и Женя прочла, и в не-

доступном нам теперь разговоре очередное слово — за мной! Как довести мне это слово до нее?

В бесчеловечной нашей отрезанности, когда и двух строчек отправить домой нельзя, не повредив близким, мои писания здесь всегда казались мне призрачной тропкой туда: а вдруг и дойдут, и прочтут там... И вот, вместо ответа на много вопросов и объяснений живыми словами, я дописал эту повесть, начатую в Москве. Может быть, прочтут. Прочтут...

Иллюзия? — Но ведь и верить в то, что те там, кого мы любили, живы еще и помнят еще о нас, даже ждут, — тоже иллюзия. Но так — легче.

Милая Женя, я дописал эту повесть для тебя!

1954 г.

ПОЛДЮЖИНЫ ТАЛАНТОВ

1.

Уже перед самым отъездом домой, на север, в конце августа, я забрел с удочкой на одно преуютное баварское озерцо, в котором знал, что водились карпы. Хозяйка озерца (также и трактирчика, и купальных будок на берегу), немоложаво жеманная и в кудряшках, долго ломалась пустить, ссылаясь на везде расставленные столбики с надписью «Naturschutzgebiet»*), но все же сдалась, наконец, заставив поклясться, что не стану ловить у всех на глазах, а из камышей, где не видно, и что предъявлю ей улов при выходе для весов и оплаты. Слово «забрел» — анахронизм: не забрел, а заехал, на машине, и, получив разрешение удить, порядочно еще ждал, покуда откроют мне запертую на замок перекладину въезда. Открыл вахтер, пожилой и прихрамывающий, в мятом комбинезоне и форменной шапке. Когда я запарковался (а вот это уж новое слово, придуманное, кажется, русскими в эмиграции), содрал с меня целых три марки: марку за «паркен» и две вообще за визит. Долго и неловко отлеплял загрубелыми пальцами листок от листка, выдавая квитанцию и объясняя, что к чему. . . Акцент же при этом был настолько славянский, что я спросил наугад:

— Вы русский?

— Русский, — ответил он, без всякого энтузиазма, а скорее с недоумением, и несколько мгновений стоял, не зная, что сказать дальше и делать. Потом, повернувшись, стал снова вдевать перекладину; а я, захватив снасть подмышку и в банке червей, отправился к берегу. Уходя, я чувствовал, как он смотрел мне в спину, и знал почему-то, что непременно придет поговорить.

*) Заповедник (нем.)

Он и пришел, правда, только к полудню, когда я уж и позабыл про него, переползая то и дело в тень от наступавшего солнца и перекидывая удочку (ни разу не клюнуло); даже и испугал меня, зашуршав за моей спиной камышом и кашлянув:

— Не помешаю?

Уже пока он, прихрамывая и страдальчески морщась от бьющего в лицо с озера солнца, пробирался ко мне по берегу, я составил себе о нем некоторое понятие. — Было что-то биографически-интеллигентское в его неловко балансирующей по мокрым кочкам фигуре, в контрасте между словно бы брезгливыми движениями и рабочим комбинезоном с налатанными наколенниками на широких штанах, между барски-замшевыми складками узкого лица и дурацким форменным картузом с надписью *Wächter* золотой канителью. Впрочем картуз он тотчас снял, уместившись на плоском камешке, и я увидел большой его лоб в два поперечных цвета (загара и белого) под седым бобриком и глаза, то и дело останавливающиеся в раздумье над иной выказанной фразой (своей или чужой) — тоже непререкаемо интеллигентский признак.

— Не помешаю?

Тут я выпускаю обычные и столь надоевшие в такого типа рассказах «Мы разговорились». . . «Он оказался». . . и тому подобно, то есть приблизительно полчаса ознакомительного диалога, и перескакиваю к моменту, когда у меня вдруг дернуло поплавок, до того безнадежно толкавшийся в мелкой солнечной зыби. Дернуло и повело к камышам, в матово затененную гладь. Я подсек — неудача! Перекинул накоротке в ту же тень — снова сразу будто бы тронуло, и поплавок застыл теперь у самой камышевой зеленоногой стенки, уже не бессмысленно-лежебоко, а как сеттер на стойке, словно налитый весь невидимой дрожью, напряженный и сторожкий. . . Вот вот. . . Я не выдержал — полез к нему в воду, закатав брюки. Мой новый знакомец, на камне рядом, зашевелился, что-то вытащил из кармана, кажется, блокнот, зашуршал листочками. . . — мне было не до него: известная издевка над удильщиками: «На одном конце червяк, на другом». . . и так далее — справедлива, если не в части «дурака», то в части слиянности обоих концов. — У берега, с удилицем в руке и морщась от острых камней под ногами, стояло лишь мое материальное тело, а второе, астральное, так сказать, все перекинулось на

проткнутую перышком неподвижную красную пробку, ничего не слышало и не видело — ни человека на камешке, ни водную курочку, петлявшую в камышах, ни кувыркающихся вдали уток — только выслеживало с пробкою вместе хризолитовую неподвижность вокруг, два мелких серых пузырька, лопнувших вдруг под боком, только вслушивалось в угадываемую ниже жизнь, всем ухом в глубь... И вот поплавок нырнул! Да как! Удилище в дугу свело от рывка, а тяжесть, когда подсек, была такая, словно зацепил за корягу. И вот, мотая катушку, я повел эту тяжесть к себе, ощущая ее живую упругую дрожь и толчки, то пугающе податливые, то снова упрямые, — повел с тем замиранием сердца и страхом, и алчностью, которых не знают остряки, утешающие себя за неполноту своей жизни приведенной выше антирыбацкой поговоркой. Какой был карп! Чудовище! Он сопел и фыркал, как еж, когда я, вытащив из его толстой стеклянной испуганно откляченной губы крючок, пихал неверными пальцами его, склизкого, горбатого, колючего, с вытолкнутыми на меня глазами, в круглую сеччатую корзинку...

Но я отвлекся от темы и от соседа на камне. Когда, после порядочной-таки возни, корзинка с уловом пристроена была в воду и к тростнику (на веревочке), — он протянул мне листок из блокнота с карандашным наброском, изображающим нас с поплавком в камышах. Похоже было до удивления и очень умело, насколько я мог судить, — линии наредкость скупые и точные. По этому поводу и завязался у нас первый значительный разговор.

— Да, учился... — сказал он в ответ на мои полупохвалы-полувопросы и стал набивать трубку, глядя в сторону остановившимся (на воспоминаниях, должно быть) взглядом, так что половина табаку из-под вслепую двигавшихся пальцев сыпалась наземь; я же в третий раз, украдкой, его оглядывал — несомненно незаурядное лицо и профиль, на переносице — крупная, с ягодину, бородавка, тоже стильная (он теревил ее иногда, раздумывая), у виска, заросшего серым кудрявым пухом, попрыгивает мелкий тик...

— Учился во Вхутемасе, — продолжал он закуривая. — Знаете? бывшем Строгановском. Год однако всего: за увлечение Врубелем и за задор — вычистили. Главным образом — за задор: много уж позже постиг науку подлаживаться. Вычистили не так чтобы уж в шею: предложили, понимаете ли, пе-

рейти на архитектурное. Ну, а я метил в Рембрандты, оскорбился, конечно, да так, что и кисти с красками из окна вышвырнул. . . Вообще мои данные по части искусства (он вздохнул) фортуна не охотно поддерживала. . .

— А были еще и другие данные?

— Были. Голос был, например. Баритон. Это, конечно, дар больше физический и случайный, как, скажем, большой нос или плоскоступье, — недаром среди этого рода артистов так много неодушевленностей, но все-таки. . . Пел даже и на крупных концертах. Опять же недолго: баритон взял и пропал. До сих пор не знаю причины — так прямо и вытек из горла в одну неделю, как под землю ушел. Тогда, отравленный уже аплодисментами, я толкнулся на сцену. Способности обнаружили и здесь.

— Где же вы играли?

— В подмосковном одном городишке. Там в голодные годы много московских спасалось, из «сливок». . . Приезжал раз как-то, помню, Иван Михалыч Москвин посмотреть на наш коронный спектакль — «Гибель «Надежды», я играл там Баренда. После занавеса потребовал меня к себе. «У вас, говорит, дорогуша, не жилка сценическая, а жилища. Не партизаньте здесь, езжайте в Москву». Дал письмо. С ним поехал я к М. — был он тогда, помните, в самой силе. Ну, встретил благосклонно, а потом, когда заставил попрыгать и кое-что почитать, так и вовсе восторженно. Принял к себе, дал ролики две выходных, тоже прыгающих, хвалил. Дал потом и одну покрупнее, настоящую, но тут-то и сорвалось. Кстати: вы что же карпов-то? За поплавок не следите?

— Нет, я смотрю одним глазом, — сказал я (и ему, я видел, понравилось, что я сказал неправду, то есть, значит, интересуюсь его рассказами). Так почему ж сорвалось?

— Понимаете ли, пожелал, чтобы из этой роли сделал я дурака. Любил балаган, покойник; да кроме того выходило так, по-его, пропаганднее. Ну а в тексте нет дурака, и я не хотел уродовать. Возразил. Слово за слово и — крах! Сняли меня с актерства, перевели на режиссерскую линию, в молодежные кадры. Хлопотно было, а главное — нудно: массовые эти сцены, чертежи, геометрия, людей расставляй, как кубики. . . И я остыл. Остыл и повернул, понимаете ли, в поисках своего пути на сто восемьдесят градусов. — В науку!

— Гм. . .

— Да. Занялся химией. Вот вы сказали «Гм...», а я вам скажу: до сих пор убежден, что тут-то мое настоящее призвание и скрывалось. Ведь как захватило! с макушкой! За два всего года институтской учебы я почти что карьеру ученую сделал. Эксперимент поставил один, с углеводами, по пищевой части, практический, но... В общем — был шум, напечатали и даже, слышать было, немецкий один журнал перевел. Чувствовал я себя без пяти минут Менделеевым, и вдруг — хлоп! Все опять кувырком! На этот раз Иван Музыка ножку подставил. Недоумеаете? Это такая подпись была под доносом — в дирекцию Института, парторганизацию и профком, три копии, — «Иван Музыка». Я этого «Музыку», сочинителя, знал, спали через койку в общежитии. Не поделили мы с ним, видите ли, одну девушку и одного профессора, научного нашего руководителя, — оба предпочли меня, ну того и заело. Ах, как подвел, щукин сын! Я, знаете, в этих наших простынных анкетах всегда обычно все правдиво указывал, так, например, и писал: «Из дворян». Что ж, в конце концов, не дворяне разве сделали нам революцию? Но в одном единственном пункте — «Место рождения» — допустил незначительную передержку: указал наше бывшее именье и полустанок того же названия, теперь исчезнувшие с лица земли; это — вместо Москвы, где крестился, — чтобы не напали на метрику: у меня там восприемники совершенно, понимаете ли, были неподходящие. Вот Иван Музыка невинный этот трюк и разоблачил, и на этот раз вышибли меня, как говорится, с волчьим билетом. Никуда даже невозможно было податься, кроме как разве в заочники. Я и подался, и опять с поворотом: теперь уже в науки гуманитарные. Увлекся, понимаете ли, марксизмом. Вас как, от Маркса, не корчит? Спрашиваю потому, что здесь, в эмиграции, ему, как известно, уж и рога и копыта приделали. Теперь-то я давно не марксист, но, говоря откровенно, не смотря ни на что, очень ведь стройное было учение. Главное же — универсальное и потому для людей с известным складом ума совершенно убедительное и неотразимое. Я, во всяком случае, в те свои юные годы находил гениальным и до того вгрызся, что первые же две контрольных работы, по почте, вышли у меня целыми диссертациями. Ну, на месте, конечно, заинтересовались, и в результате не только что допустили, но сами, чуть что не с музыкой, перевели меня в «очники», и так

попал я на ФОН.*) Год с небольшим продолжал разгрызать диалектику, большую стяжал себе популярность. А потом... У вас клюет, кажется...

Верно, клевало, но откуда схватился за удилице — от клева остались только почти уж на-нет разбежавшиеся круги на воде и мокрый поплавок посередине, больше не шевелившийся. — Так что же было потом? — спросил я, снова пристроив на берегу удочку.

— Так то же самое, что и прежде, — ответил он, покусывая в углу рта погасшую трубочку. — У меня, знаете ли, разнообразились только формы, а финал был стандартный. На этот раз «отгрохал» я, как у нас говорилось, на семинаре доклад на тему «О базисе и надстройках в нашей революционной современности!» Надо вам сказать, что, хоть и увлекался я Марксом, но уж и тогда понимал, что именно к нашей-то тогдашней современности притягивают его, так сказать, за бороду. Станным образом как раз это крамольное соображение и прозвучало в моем докладе во весь, понимаете, голос. Сам не знаю, как это вышло, потому что и задор мой к тому времени уж ополовинился, и наивным я не был, но — вышло. Все растерялись: и сам, и слушатели, и руководительница — это была К. (он назвал фамилию), теперь, слышал, академик... Ну, представляете себе резонанс! Принимая во внимание, что подавал надежды, а время было еще не столь уж свирепое, — предложили мне перейти на... педологический факультет. Декан в разговоре по душам даже намекал, что разумнее бы всего и благонадежнее специализироваться на глухонемых. Я всякого рода дефективных органически не перевариваю и прямо сказал, что лучше пойду в пожарники. Сторговались на литературно-лингвистическом отделении. Здесь я удержался уже до выпуска...

— На этом истребление ваших дарований и кончилось?

— Не совсем. В процессе педагогического, так сказать, опыта, открылось еще красноречие. Я бы, пожалуй, и не заметил, но начали понемногу со всех сторон: «златоуст! златоуст!» — Я сам к себе прислушался и вижу: да, словно бы и получает. Поднажал, и вскоре пригласили меня в Центральное лекционное бюро — знаете, было такое у нас — читать популярные массовые лекции. По этой боковой линии снова пошел

*) Факультет общественных наук.

было в гору. Да как! Отбою не было от персональных приглашений и вызовов. Ну и, конечно, отрава: хлопки, «восторженных похвал минутный шум» и прочее. С такими уж тузами начал конкурировать, что самому иной раз и лестно, и страшно было. Но...

Я уже ждал этого «но» и, улыбнувшись невольно, повернулся совсем в его сторону, спиной к удочке. Улыбки он не заметил, снова принявшись набивать свою трубку и соря табаком на залатанные коленки.

— Продолжение, или, точнее, финал, вы, вероятно, себе представляете? — спросил он. — Ну да, выперли. Эта моя очередная карьера лопнула с треском, как воздушный игрушечный шарик, если поднести к нему папироску. Поднес кто-то из слушателей одной моей лекции, о Маяковском, — какой-нибудь мученик бдительности, вероятно, либо профессионал. Я позволил себе несколько вольную трактовку народности этого поэта. Трагическая ведь фигура — его, бедного, окончательно поставили на голову. Причислили к соцреалистам, хотя он, по роду своей поэтики, формалист весьма чистой воды; объявили «трибуном» и «рупором масс», хотя он всегда был индивидуалистом по духовному своему облику, массы же распевали себе «Ты жива еще, моя старушка», а к трибуну относились вполне равнодушно и слушали его стихи, как слушают барабан. Этого всего я, разумеется, не сказал на лекции, но мысль была ясна и отпереться, когда позвали к расчету, не было возможности, ибо энтузиаст бдительности приложил к доносу застенографированную выдержку. Скандал был громкий, я даже не надеялся отделаться одной только выкидкой — в тридцатых ведь уж годах происходило дело. Во всяком случае это была уж действительно последняя попытка продвинуть скромные свои, как вы выразились, дарования.

— Я не выразился, что «скромные», — их прежде всего и по количеству много: художник, актер, баритон, исследователь, лектор... Шутка ли!

— Добавьте и литератора, и это было. Всего ведь не расскажешь...

— Ну вот, видите, сколько талантов!

— Да, на шестерых бы хватило, если б поделить. У меня ж не расцвел ни один, как, знаете, если в цветочный мелкий горшок набросать разносортных семян, все и заглохнет. С одного, впрочем, и посейчас получаю небольшие проценты, — он кив-

нул на блокнотный листочек с рисунком, лежавший на моем рюкзаке. — Рисую иногда на заказ знакомых баварцев в коротких штанах и с альпийским бритвенным помазком на шляпе. Правится. Нет, вы можете взять бесплатно, — добавил он быстро, поймав, должно быть, на моем лице внезапную мысль-замешательство. — Вам дарю на память. Давайте и подпишу теперешним своим псевдонимом. Вот, пожалуйста. Не разбираете? Шустер — моя фамилия. Теодор Шустер. Проще не мог подобрать. Проще уж только неприличные какие-нибудь или комические. А хотелось именно проще... Потому что уж и тогда еще, дома, после этой истории с Маяковским, пришел к убеждению, что «премудрый пескарь» был мудр по-настоящему и что жить надо как можно тише и проще, без всяких там талантов и поклонников...

— И «поклонниц?» — спросил я. — Потому что были, наверное?

— Гм... — сказал он, теребя бородавку на переносице. — Были, конечно, и интересовали, признаться, но... Не делал из них ни кумира, ни занятия. Хоть и женился дважды на своих ученицах. Оба раза — печально, то есть больше для себя печально, не для них. Они как-то через меня просто-напросто перешагивали... на очередную, высшую, так сказать, ступень... Нет, именно, без талантов и без поклонников. Я тогда даже от литературы отказался — стал, знаете, в школах военное дело преподавать. Так и трубил в этом качестве до самой до войны. Точная, знаете ли, и спокойная наука: сборка-разборка винтовки образца 91-го года, и как устроен противогаз. Всерьез никто не берет и не стенографируют: лишнего здесь не скажешь и талантов нет надобности проявлять. Да... Тогда мне казалось это дорогой к безопасности. Теперь, после войны и двух пленов — немецкого и платтлинговского — думаю, что это и дорога к счастью. Потому что только теперь, когда я всего лишь Шустер, стерегущий фольксвагены, я окончательно и совершенно счастлив...

«Вот так так!» — сказал я себе. «Какой-то тайный мажор я прозевал, должно быть, в его рассказах: концовка о счастье уж очень внезапна». Снова, в который уж раз, оглядел я мельком вялую его позу на камешке и стылый взгляд, не на озеро в горной лиловой кромке вдали — это было бы подходящим аккомпаниментом к утверждению, — а вниз, на мокрые

кочки, почти под ноги. Любопытство и недоверие зашевелились во мне.

— А как насчет ностальгии? — спросил я. — Эмигрантского недуга?

— Не страдаю. Ни в малейшей степени. Слушаю иной раз Москву, все эти «выполним-перевыполним» насчет мяса, молока и преданности, и дико, знаете, и странно становится: как могут люди слушать эту пошлость вот уже четыре десятка лет и сохранять человеческое достоинство? Что до меня, то каждый раз, выключая, подытоживаю: «Благодарю тебя, Господи, что унес меня из этой несчастной страны!» Нет, повторю: здесь я счастлив. . .

Он произносил это «счастлив» с нажимом, но, как мне показалось, без того внутреннего дрожания и тепла, с каким обыкновенно выговаривают это редкое слово применительно к самим себе. Была убедительность — не было убежденности. И уж во всяком случае подразумевался необычный для подлинного счастливицы дедуктивный путь утверждения: «счастлив, потому что». . . и дальше по пунктам. Ладно, попытаемся узнать — почему. . .

— Что ж, много свободного времени? Пишете что-нибудь? — продолжал я допрашивать.

— Нет, так больше. . . размышляю про себя. Философствую. Писать — куда же? От эмиграции я в стороне. А иначе — языки надо, а я. . . Не помню, кто это сказал, что некоторые хорошо языки усваивают, потому что в головах у них много пустого места. У меня нет пустого. Я думаю! Думаю и. . .

— The-o-dog! — принесся со стороны крыш и купален (наши камыши были шагах в полтора от них) женский тонкий с металлическим дребезгом голос — и моего собеседника так и подкинуло на камне с полуслова.

— Бог мой, заболтался! — поднялся он, отряхивая картузом табак с коленок. — Совсем позабыл, что Эрика ведь дежурирует там за меня, с машинами. А время уж обедать. . . Кстати насчет уженья: тут один мой приятель, кнехт здешний, ловит на сыр. Белый такой сыр, вроде нашей брынзы. Вы бы попробовали. . .

— Да где ж его взять сейчас, сыр?

— The-o-do-or! — прилетело снова, на ноту еще пронзительнее.

— Иду, иду! — кивнул он сам себе, пускаясь уж без осмотрительности к берегу через кочки и лужицы и продолжая на прыжках скороговоркой: — Сыр есть у нас, могу дать. Вы, верно, тоже проголодались? Здесь кормят прилично. Я вас найду в ресторанчике. А сейчас бегу, простите...

— The-o-do-o-og!

Он и в самом деле почти побежал, выбравшись на тропинку, махая рукой с картузом и прихрамывая. А я колебался: ловить — не ловить: было знойно и душно, поплавок безнадежно подобрался к самым уже камышам и дремал, хотя червяк оказался целехонек. Замаскировав корзинку и удочку, я пошел вслед за Шустером: обед — обедом, но больше толкала охота к продолжению встречи и разговора с этим необычным «счастливецем».

2.

Я курил уже вторую послеобеденную сигарету, когда он, дымя трубкой, показался меж столиков, уж без картуза, с закатанными рукавами и немного опростевшим, по-крестьянски красноватым после еды лицом.

— Поднимемся, если хотите, ко мне. Тут мы и живем. Дам сыр и потолкуем. У нас прохладно...

Мы вошли в какие-то сени, пахнувшие парным молоком и коровами. По ветхой лесенке и потом еще по другой, уже прямо поющей, поднялись в заставленный коридор, на второй этаж, а оттуда — в комнатку с узким завешенным чем-то окном, самодельным столом посередке и полками; из нее, правда, была дверь и в другую, видимо, спальню, сквозившую из-за дверной цветастой гардинки желтым полированным боком кровати и белизной. Впрочем, все это заметил я уже после, а сперва — только женскую мелкую фигурку у стола, в полумраке, над небольшой бадейкой с горячей, судя по пару, водой и посудой.

— Эрика, моя жена, — сказал Шустер, качнувшись в сторону бадейки. — Унд даст ист херр, мейн ландсман... — продолжал он на своем российско-немецком языке, покуда мы раскланивались. То есть раскланялся я, а она только кивнула

острым подбородком, не вынимая из бадейки рук. Она, эта Эрика, показалась мне в полупотемках необыкновенно уродливой: тонкая, как муравей, в брючках-дудочках, и вся колючая: острые плечи, остреньким треугольничком лицо, вытянутый нос, подбородок — все тоже острое и колкое. Словно для того, чтобы я лучше ее рассмотрел, а вернее из замешательства, Шустер подковылял к окошку и, сдвинув шторку, впустил в комнату такой взрыв озерного слепительного света, что даже сам призажмурился и растерянно начал стряхивать набухшую в трубке золу в цветочный горшок на подоконнике.

— Was machst du denn, Theodor! — крикнула Эрика все тем же, что и на озере, пронзительным голосом с металлическим лязгом, — и он торопливо стал сгребать пальцами сброшенный пепел в горсточку.

Теперь, при свете и когда Эрика вскинула сердито кверху колючий подбородок, я мог рассмотреть ее пристальнее: да, очень невзрачна, сера, даже как-то без возраста — тридцать ли, сорок, не разберешь; неприятное скошенное вглубь подлобье — глаз не видно, одна переносица. А волосы, зализанные в мелкий пучок на макушке, — с зеленоватым отливом.

«Кикиморка!» — пришло вдруг мне в голову, и, Бог знает почему, я чуть не улыбнулся при этом, поскорее переведа глаза на Шустера.

— Садитесь, пожалуйста! — сказал он в ответ. Я сейчас сыру...

Над бадейкой теперь взлетали, как бабочки, посверкивая, тарелки, на миг потухали в витках полотенца и, снова сверкнув, плавно опускались на стол. Проворству этих даже не видных в мелькании рук, вытиравших посуду, мог позавидовать любой фокусник. Острый подбородок взлетал тоже от времени до времени, следя за тем, как Шустер шарил по полкам.

«Кикиморка!» — подумал я снова, тут же припомнив, где и когда в первый раз услышал я это словцо в применении к повествовательной, так сказать, героине. — В сказке, которую мне, совсем еще малышу, рассказывала одна вышневолоцкая бабка, в мелочную деревенскую лавочку которой прибегали мы покупать запретную дома коврижку. В этой сказке, довольно сумбурной и после мне никогда не встречавшейся, Кикиморка была неким миниатюрным чудом, вроде Дюймовочки

или Мальчика-с-пальчика, родившимся непонятным образом у «жили были старик и старуха», в утешение их старости и в ответ на молитвы. Тоже была зеленоволосая, сперва хохотушка и непоседлива — этаким маленьким порох, кузнечик с бубенчиком: «Все ширк-ширк по углам, минуты на лавке не усидит», — говорила бабка. А потом случилось, что в поисках чем бы полакомиться, забралась она с загнетка в только что истопленную русскую печь. Там ее, по недоразумению, и прикрыли заслонкой. А когда спохватились и выгнали, — тут бабка, сложив и без того печеное личико в самые жалостные морщинки, тянула слезливым голосом: «она — чуть жива, высохла вся и пожелкла... А главное дело — душа у нее вся от жару повыкипела, злая стала, как крыса, кусачая... Совсем было стариков заела. В одну ночь раз как-то перекокала всю посуду и в лес убежала»...

Такова была Кикиморка в сказке, а Кикиморка в комнате, куда я вспоминал да прикуривал, отмелькавши посудой, как-то во мгновение ока уж и пристроила все, и бадейку, на полки, что-то там дотирая в углу.

Шустер тоже подсел к столу, напротив меня, с кусочками сыра в газетной бумажке. Я держал сигарету и жженую спичку в руке, боясь уронить.

— Theodor! — сказала Кикиморка из угла (не так громко на этот раз, но оба мы вздрогнули), — Haben wir keine Aschenbecher? Нет у нас пепельницы? — Она смерила Шустера сверху вниз взглядом, от которого, если бы придать ему вещественную остроту, должен бы тот развалиться на две половинки, как яблоко, «ширкнула» куда-то в сторону — и пепельница села на край стола стремительно и неслышно, как планер; потом метнулась к дверям и оттуда опять позвала «Theodor!», уже совсем негромко, но повелительно.

— Vergiss nicht! — сказала она, когда он подошел, и ее темные глаза, казалось, буравили его насквозь (спина у него ежилась). — Du hast nur eine Viertelstunde zu plaudern... — тут она перешла на свистящий шопот и диалект, который понимал я плохо. Мне показалось, что мелькнуло там что-то вроде «Immer schreiben und schreiben!» — и это было интересно, потому что, значит, Шустер утаил, что пишет... Исчезла Кикиморка незаметно, как пар — я не услышал даже, как открылась и закрылась дверь, а только — тишину в комнате и как посапывает Шустер, снова подсаживаясь к столу.

— Через четверть часа, — начал он несколько виновато, — придется мне уходить. Пригласили, понимаете ли, в соседнюю деревушку на «пóмочь», как у нас говорилось. Со средствами несколько туговато, портретики мои приносят сущую ерунду, важно, значит, заработать что-нибудь «экстра». Вот мы и ходим оба посменно на отхожие промыслы. Эрика строго следит, чтобы я не отлынивал. И правильно: я ведь ленив, признаться, и беспорядочен, а она у меня настоящая муза труда и организованности. Как она умудряется при наших доходах не только кормить нас обоих, я бы сказал, первоклассно, но еще и прикапывать — непостижимо уму! Эта вот, например, спальня. — Он, наклонившись, откинул немного гардинку с двери, откуда блеснул желтый лак и снежность подушек, — куплена недавно на одни только ее сбережения. Теперь на очереди у нас «в о н ц и м м е р», чтобы выбросить эту всю самодельщину, чтобы не стыдно было принять... Не знаю, как вы, а я прежде не понимал, только теперь начал понимать, какое это дает удовлетворение. Не понимал, потому что вывез сюда наше российское интеллигентское, либо полунинтеллигентское, пренебрежение к «барахлу» и канарейкам (обязательно заведу себе одну, если разбогатею), — пренебрежение, за которым ведь ничего не стоит, решительно ничего, кроме позы и фразы, кроме нашей душевной растрепанности и неспособности к конкретному мышлению. Да! Потому что не могли и не можем понять, фыркая на западное мещанство, что за ним, за этими салатными грядками по линейке, спальнями и канарейками, стоит человек — его привычки, традиции, то есть, значит, его воля, его человеческое достоинство: моя спальня, моя канарейка, мой дом, моя жизнь — «хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю», моя свобода! — да, да! вот куда это идет! А мы? Не за то ли жали и жмут нас сорок вот уже лет, что мы от своих спален и собственных грядок с такой готовностью и так форсисто отказались? Так и валяйтесь на нарах, являйте жертвенность, вкалывайте день и ночь, как средневековые рабы, до седых ранних волос и после. Только рабам, кстати сказать, обещано было за это Царствие небесное, а что обещали нам?..

Он порывисто, с подергивающимся виском, взялся за трубку, продул, разбрызгивая по столу зловонные желтые капельки, стал потом набивать, как и раньше недвижно уста-

вившись куда-то мимо моей головы и щедро просыпая на пол табак.

— А я, понимаете ли, в этой пресловутой меркантильности Запада различаю традиционный дух прометеевского человека, который по-прежнему по уголку, по искорке крадет у богов огонь, зажигая от него собственную свою свечку. Я не о разумном эгоизме и не из Штирнера, а есть в этой вещной организации своей жизни что-то в высшей степени подкупающее, естественное, и недаром Робинзон Крузо, после Евангелия и библии самая распространенная книга в мире. Да, что-то естественное, стройное и гармоническое. В русской же душе стройность и пропорция всегда отсутствовали, гармония и не ночевала. Вот уж поистине, возьмите кого угодно, от какого-нибудь пропойцы, ловящего на рукаве зеленых чертей, и до Достоевского, даже Толстого, — всю почти нашу возьмите литературу и поэзию после Пушкина — что это, как не совершенное отсутствие гармонии? А у меня... Вот давеча я говорил вам, что счастлив. Да, счастлив, потому что чувствую: здесь, на Западе, начинаю обретать, наконец, гармоническое начало, оно входит в меня, заполняет постепенно в качестве, если хотите, очередного таланта, седьмого таланта — таланта жить гармонически... Ну, конечно, тут главное — Эрика, посланная мне Небом в компенсацию за все прошлые терзания, неудачи и пустоту. Она теперь для меня... — в ней для меня весь дух и гармония Запада. Именно, гармония. Вы не представляете себе, как гармонически слиты в ней воедино разум, воля, энергия, привязанность, женственность...

Он похрипел трубкой, высосав из нее несколько тощих клубков дыма, посмотрел на меня из-за них, добавил:

— У нее, как вы, конечно, заметили, нет этого внешнего блеску и красоты — сколько раз обманывали они меня на моем веку, хватит! Но... разве красива, скажем, платина, самый драгоценный металл?

Монолог звучал живо, что и говорить. Но, странным образом, несмотря на патетику, снова ощущал я в нем какую-то трещину, делавшую его больше разговором с самим собой, вслух...

— Я случайно подслушал, как ваша супруга говорила про ваше писанье, — сказал я. — А вы признавались только в том, что философствуете мысленно.

— Гм... философствую, ну и записываю иногда кое-что из

пришедшего в голову. Примем такой компромисс. Грешен!

— Но о чем, не расскажете ли? Я сам немного пишу, поэтому — интересно. . .

— Да все о том же. . . О практической гармонии в жизни. В частности, сейчас вот как раз — о проблеме времени в человеческом бытии. Но надо начать от печки. . . Вам сколько лет, если можно узнать?

Я сказал.

— Ну, не намного меньше. Это хорошо, то есть я хочу сказать, удобнее для понимания. Видите ли: теперь, когда стал я счастлив, я стал вдруг чувствовать старость, само понятие старости, так сказать. Прежде, там, и теперь также здесь, до женитьбы, впопыхах и в отчаянии, как-то не замечал. А теперь ощущаю, и не как-нибудь лирически, «куда, куда вы удалились!» а, понимаете ли, как боль, постоянную, ноющую, вроде зубной. . . А случается — и взрывом, непереносимую, когда хочется — об стенку головой и заплакать, завывать позвериному: Караул! Ограбили! Кто? Когда? Как не заметил? и так далее. Поводом для взрыва иногда — самое что-нибудь незначительное. Не знаю, случилось ли с вами: попадетс я вам на улице где-нибудь либо на пляже красавица. Цветет вам навстречу, как ландыш, сирень, резеда, душистый горошек и прочее — и вот вы уже задышали всей грудью, тянетесь, понимаете ли, на аромат, как к цветку, и вдруг — скользнет по вас взгляд, совершенно невидящий, отсутствующий, как по забору. . . взгляд — как локтем в травмае, нет — хуже, потому что вполне и безукоризненно безразличный. Вы не подумайте: я не ловелас и не сексуален, но — так, для примера. Да. . . и вот, значит, вдруг камнем на плечи — твои почти шестьдесят, и едва двигаешь ноги в кошмарном и каждый раз новом открытии, что жизнь-то прошла, что только мизерный и полупригодный кусочек остался. . . Кстати: это «сколько осталось» не так уж остро и больше уже головное. Но вот с ним я как раз сейчас и вожусь: как бы не растрянжирить остатка-то или, может быть, даже как расширить? Не поймите неправильно, я не про омоложение и не про теорию относительности, у меня все это — только в психологической плоскости, в смысле такой организации восприятия времени, когда оно распределялось бы во мне полнее и длительнее. И я в нем. . . Не понимаете?

— Признаюсь, несовсем.

— Будем проще: течение времени, как вы знаете, может нам представляться различно по скорости. Время тянется, говорим мы, иногда, в поезде, когда весь день едем, глаза в окно, и забыли взять с собой криминальный роман. Время летит — говорим, когда в хлопотах и не успеваем с чем-либо управиться. Налицо, таким образом, два типа восприятия времени, или две установки: суета и созерцание. С созерцания, кстати, я все и начинаю. Здешний покой, тишина, живописность декорации очень этому способствуют. Ну-с, созерцать мы уже не умеем, отвыкли и потеряли вкус. В темп мотора включились, вместо темпа травы. Созерцать, говорят, не забыли еще на Востоке, а у нас... До чего это жаль и ошибка! Есть, если выразиться высоким штилем, чудесный мир, необъятный сад и музей нерукотворного и непостижимо прекрасного, куда впускают человека на тридцать, примерно, лет полнокровного любования, а он морщится, забивается в щель, откуда ничего не видеть, и клянет эту щель, принимая ее за вселенную... Но оставим это. Перцепция времени в смысле полноты его и течения зависит вообще от того, как, под каким углом и какими глазами смотреть. Тот же пример с поездом: смóтрите вы в окно, и сразу же за ним, поблизости, все летит кувыркoм, стрeмглав до невнятности: столбы, кусты, будки и прочее... Взглянули немного подальше — все бежит уже медленнее. А там, совсем вдальеке, церковь какая-нибудь или башенка будто и вовсе не движется, а стоит, и только уж когда совсем приглядеться, заметишь: нет, тоже плывет, уплывает куда-то от вашего взора, но куда исчезнет совсем, протечет иной раз — так покажется — целая вечность... Вы следите за мыслью? Перцепцию времени можно изменить, воспитать в себе по-другому, понимаете? Время можно раздвинуть. Можно...

— Theodo-or! — раздалось за окном.

— Ведь вот скажите, как перебила! — развел он руками и вздохнул. — Пусяки ведь осталось договорить. А теперь вы как? Уезжаете из наших мест?

— Завтра утром. До следующего лета!

— Досадно. Значит, только через год... Ну, переписываться не предлагаю: в письмах многого не изложишь, другое дело — поболтать. Отсутствие собеседника единственное, что здесь тяготит. Да, досадно...

Он, я видел, был огорчен искренне, даже как-то сразу увял

и словно уменьшился весь. Вообще в этих последних его рассуждениях о возрасте и «раздвижении» времени было больше искренности и чего-то непосредственно от себя, чем в прежних.

— Theodo-or!

— Иду, иду... Сыр не забудьте, вы ведь сейчас снова рыбачить? Иду! — крикнул он в третий раз в сторону окошка и, засунув в карманы табак и трубку, пошел похрамывая к двери.

Когда он спускался впереди меня по скрипучей лесенке, «колдыбая», как говорят в Смоленщине, со ступеньки на ступеньку одной ногой и оглядываясь, — мне снова бросился в глаза контраст между его устало-неловкими движениями торопящегося на «помочь» батрака и бледным большелобым профилем с седым бобриком. Как-то обиженно, если смотреть сверху, сутулились у него под широким, вероятно чужим, комбинезоном плечи, и мне стало немножко не по себе...



Из послеобеденного уженья ничего, стоящего рассказать, не получилось: я к нему уже и поостыл, но, вытащив из воды посмотреть металлическую дырчатую корзинку с карпом (он сидел в ней этакой грузной двухкилограммовой флегмой, оранжево-розовый от тесноты), — воодушевился и поймал еще двух окуньков (на червяка: сыр только крошился, и на него ни разу не клюнуло). Один из окуньков, шкурнически-энергичный, завел поплавок в самый тростник и запутал так, что пришлось, отцепляя, и выкупаться...



Автоплощадка, когда я собрался домой, рассчитавшись с хозяйкой, похожа была на солнечную сковородку, на которой поджаривалось, сверкая и чуть не шипя раскаленным лаком, с десятков машин. Я распахнул дверцы в своей, тоже горячей, как духовка, и осмотрелся: к воротцам у выезда подбегала Кикиморка, заменившая на дежурстве мужа. Позвякивая ключами в связке, проворно сняла замок, отмахнула перекладину в сторону. Потом шмыгнула ко мне, я думал — поглазеть на улов: как раз укладывал корзинку с подпрыгивающим нутром в ноги у переднего сиденья. — Нет, любопытства

Кикиморка не проявила, а чуть посторонив меня острым локтем, отщелкнула — раз-два! — дворники и принялась тереть запыленное ветровое стекло неизвестно откуда взявшейся тряпичной ветошью. Муравьиная фигурка ее с ломкой талией вся пружинила, руки мелькали по стеклу, как усики, выводя из него на поверхность поистине первобытный блеск. Мне видна была ее щека — теперь почему-то не землисто-серая, как в комнате, а смутлая, с очень тонкой кожей, просвечивающей на солнце. Нет, ей не могло быть и тридцати. . .

Кончив, она обернулась ко мне, слегка запыхавшись, в первый раз близко, лицом к лицу. Тоже и глаза оказались теперь вовсе не буравчато-темными, как представлялось раньше, а желтоватыми, светлыми и прозрачными в черни глубоких глазниц.

— Glänzend!*) — сказал я, имея в виду работу.

Она улыбнулась тонкими подкрашенными губами, углами кверху, и на секунду с лица ее непонятым образом исчезла колючесть.

Я дал ей две марки.

— Danke! — кивнула она, толкнув мне ребрышком руку, сухую, теплую и такую мелкую, что вся кисть проскочила в мою, — тоже и на запястье кожа была необыкновенно шелковиста на ощупь и горяча.

— Гм! — подумал я, забираясь за руль, — если она вся такая шелковая и горячая, Кикиморка, всем телом, то можно в известной мере и объяснить шустеровские восторги. Мысль эта, несколько фривольная в изложении, никакой, однако, фривольности в истоках своих не имела: мне всерьез хотелось разобраться в обстоятельствах встречи с этой необыденной парой. Думал о ней всю дорогу, нарочно выбирая подлиннее маршрут, и только упруго-отчаянные толчки под ногами, в корзинке (окуныки! карп страдал надвжимом) побуждали увеличивать скорость: хотелось довести их живьем и, может быть, даже поплавать дать в ванне до того, как их выпотрошат. . .

*) Замечательно! (нем.)

Уехав из Баварии, я записал этот эпизод кое-как, в виде очерка и отложил впрок. Мне казалось, что если и повторится через год эта встреча, нового чего-нибудь вряд ли прибавится. Встреча не повторилась, но, тем не менее, очерк ожил и даже вот вырос в рассказ — потому что возникло неожиданное продолжение.

Следующее лето у баварских озер было несносно дождливое, особенно в первое время после приезда: лило недели три сплошь — ни в лес, ни на воду с удочкой, ни в гости, ни к тебе кто. Наконец, выдохлось, стало течь с перерывами, и в первую же солнечную паузу я поехал на озерко, больше для Шустера, чем ради ловли.

По случаю несезонной погоды там было все серо и заброшено: перекладина у въезда снята, мокрые столики — один на другом, чехардой; в ресторанчике (я заглянул в окно) ремонт — лесенки, липкие ведра в известке и кляксы на полу, устланном газетами.

Хозяйка, заметив меня, высунулась по пояс из другого окошка, откуда обычно продавались напитки, поспешно поправляя увядшие на безлюдьи кудряшки:

— Wieder in Bayern? Herzlich willkommen! Fischen?*)

Я объяснил, что да, «фишен», и, главное, повидать г-на Шустера, земляка. У нее высоко, двумя аксансирконфлексами, взлетели брови:

— Sie wissen nichts? Вы ничего не знаете? Его же у нас нет. Он пропал!..

— Как пропал? Когда?

— Месяца два уже, в мае. Взял и ушел от нас, почти без вещей и даже без шляпы. Неизвестно куда.

— А... Эрика?

— Она убежала от него еще в апреле, весной. Тоже не знали? O mei, o mei... Это же целая история!.. Нет, я вижу, вам нужно все по порядку... Могу я предложить чашку кофе?..

*) Снова в Баварии? Добро пожаловать! Рыбачить? (нем.)

У нее даже кудряшки прыгали — так не терпелось рассказать «историю» свежему слушателю. Мне не терпелось тоже — услышать. Мы уселись во второй, задней комнате рестораника, уже обновленной.

— Когда ушла Эрика, — рассказывала она «по порядку», — он слег. Mein Gott! Это такой был для него удар! Мы недолго кормили его в кровати, почти с ложечки. Потом поднялся, но — как тень (wie Gespenst), даже не отвечал, когда спрашивали. . . Однажды вечером вышел, никто не заметил, как, и — исчез, не вернулся. Мы даже все глубокие места у купален осматривали, подозревали, что. . . вы понимаете? Заявили в полицию. Там тоже принимали меры. . . О mei, что было! Две, три недели. . . (она сделала паузу отчаяния). И только недавно вот, в конце июня, из полиции сообщили, что пришло от него Abmeldung*).

— Ах, так? Все-таки? . .

— Да, но подумайте: целый месяц! И ничего, ничего не сказать! . .

— Отчего же бросила его Эрика?

— О mei, о mei. . . Все ее осуждают. Очень было жестоко с ее стороны. Но ведь ей всего только двадцать два года, а ему. . . И она так хотела как следует (ordentlich) жить. Теперь уж о ней все нам известно. Недавно прислала грузовик за спальней. Новый ее дружок тоже совсем еще молод. . .

Тут я, признаться, не очень и слушал, занятый собственными мыслями: куда теперь мог податься Шустер со своим «созерцанием» и поисками «гармонии?» — Вы говорите: Abmeldung, — спросил я хозяйку. — А откуда, из какого города?

— О mei, разве я не сказала? — Из Н. Он, между прочим, получал оттуда и письма. Я нашла. . . Правда, только конверты. Я сейчас покажу. . .

Она притащила конверты, штук пять, все — с бланком одного эмигрантского издательства. Чувствуя себя чуть-чуть Шерлоком Холмсом, я разобрал на почтовых штемпелях даты, сравнил — все оказались недавние и довольно близкие одна к другой. Действительно, у него была весьма оживленная переписка с этим городом.

*) Заявление в полицию об отписке.

— Может быть, он там теперь и поселится? Нашел, может быть, работу? Знакомых? — наседала хозяйка, дрожая завитушками.

Я тоже сказал «может быть» (что еще было ответить!), поблагодарил за кофе и пошел на берег, раздумывая, стоит ли закидывать: на солнце вползали тучи, утюжа по озеру серыми косяками теней — вот-вот полет снова... Место у камышей, где сидели с Шустером, заболотилось и расклякло, не подобрешься; плоский камешек торчал весь в воде. Нет, уженья не состоится, как не состоялось и продолжение разговора об «укрощении времени» и таланте «гармонически жить». На самом деле чувствовал он в себе этот талант или только примыслил? — думал я, возвращаясь к купальням. Где-то у Горького: люди, искавшие подо льдом утонувшего мальчика, начинают вдруг сомневаться: «Да был ли мальчик? Может, мальчика-то и не было?» Не так ли и тут?.. А вера в Кикиморку и гармоническое в ней начало была у него на самом деле? Любовь, кажется, была, и потому, когда я, бывало, вспоминал их обоих, такая жестокая развязка ни разу не приходила мне в голову. Где теперь станет искать он замену?..

Пошел дождь...

1958 г.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Двое на камне	5
Сентиментальная повесть	55
Полдюжины талантов	109